

Теллурия

Автор:

Владимир Сорокин

Теллурия

Владимир Георгиевич Сорокин

Новый роман Владимира Сорокина – это взгляд на будущее Европы, которое, несмотря на разительные перемены в мире и устройстве человека, кажется очень понятным и реальным. Узнаваемое и неузнаваемое мирно соседствуют на ярком гобелене Нового средневековья, населенном псоглавцами и кентаврами, маленькими людьми и великанами, крестоносцами и православными коммунистами. У бесконечно разных больших и малых народов, заново перетасованных и разделенных на княжества, ханства, республики и королевства, есть, как и в Средние века прошлого тысячелетия, одно общее – поиск абсолюта, царства Божьего на земле. Только не к Царству пресвитера Иоанна обращены теперь взоры ищущих, а к Республике Теллурии, к ее залежам волшебного металла, который приносит счастье.

Владимир Сорокин

Теллурия

I

– Пора трясти стены кремлевские! – Зоран сосредоточенно бродил под столом, тыкая кулачком по ладошке. – По-ра! Пор-ра!

Горан подпрыгнул, вскарабкался на лавку, сел и стал привычно покачивать ножками в стареньких сапожках. Горбоносое, низколобое, окаймленное ровной бородой лицо его излучало спокойную уверенность.

- Не трести, а сокрушать, - произнес он. - И не стены, а головы гнилые.

- Как тыквы, как тык-вы! - Зоран ударил кулачком по ножке стола.

- Сокрушим.

Горан доказательно вытянул руку, ткнув пальцем в дымный смрад пакгауза. А там, словно по команде этого крошечного перста, двое больших, громоподобно ухнув утробами, сняли с пылающей печи стоведерный тигель расплавленного свинца и понесли к опокам. Шаги их босых ножищ сотрясли пакгауз. На столе звякнул в подстаканнике пустой стакан человеческого размера.

Зоран стал неловко карабкаться на высокую лавку. Не прекращая болтать ногами, Горан помог ему. Зоран перелез с лавки на стол, выпрямился, подошел к краю и встал, вцепившись ручками в лацканы своего короткого пальто. Узкие глазки его вперились в тигель, рыжеватые космы колыхались от доходящего сюда жара печи.

Большие поднесли тигель к опокам, наклонили. Свинец, шипя и гудя, хлынул в широкий желоб, подняв клубы серого дыма, от желоба сразу разбежались пронзительно-белые свинцовые ручейки, десятки, десятки ручейков - и заструились, закапали в опоки. Полуголые, потные большие в своих брезентовых фартуках плавно клонили тигель.

Свинец тек и растекался, исчезая в земляного цвета опоках, тек и растекался. Зоран и Горан смотрели: один - напряженно стоя на краю стола, другой - побалтывая ножками на лавке. Чудовищные мышцы на руках больших взбугрились и блестели от пота. Клубы дыма поднимались к дыре в потолке пакгауза. "На великое дело..." - подумал Зоран. "Мать сыра земля..." - вспомнил Горан.

Тигель все клонился и клонился. Казалось, этому не будет конца. Глазки Зорана заслезились. Но он не моргал и не вытирал их.

Наконец свинцовая лава иссякла. Большие с грохотом опустили тигель на каменный пол.

Зоран вытер глаза ладошками, Горан достал трубку, стал раскуривать.

– Молодцы, товарищи! – изо всех сил выкрикнул Зоран, сясь перекричать шум печи.

Но большие не услышали. Раздвигая своими огромными телами смрад наспех обустроенной плавильной, они двинулись в угол, взяли по ведру и стали жадно пить. Выпив ведра по три, они сняли фартуки, натянули на себя свои хламиды и подошли к столу. Фигуры их загородили плавильню. Тени больших упали на Зорана и Горана.

– Мо-лод-цы! – повторил Зоран, блестя довольными глазками. Лицо его сияло даже в тени больших.

Горан, попыхивая трубкой, влез на стол, кривоного подошел, встал рядом.

Большие молча протянули к маленьким свои огромные ладони с коричневатыми наростами мозолей. Горан достал из кармана куртки две сторублевых купюры и неспешно положил на каждую ладонь. Один большой сразу сжал сторублевку в кулаке и сунул кулак в карман. Другой поднес купюру к лицу, сощурил и без того заплывшие глаза.

– Хорошая? – произнесли его губищи.

– Хорошая, – усмехнулся Горан, обнажая прокуренные зубы.

– Самая что ни на есть хорошая, большой товарищ! – приободрил его Зоран. – Спасибо тебе от трудовой Москвы!

– Мы вас еще позовем, – пыхнул дымом Горан.

Большой крякнул, убрал сторублевку. И снова протянул ладонь. Зоран и Горан уставились на нее. Большие смотрели на маленьких. Ладонь большого напомнила Зорану Россию, не так давно еще простиравшуюся от Смоленска до

самых Уральских гор. Эту страну москвит Зоран видел только на изображениях. Большой словно дразнил его.

“Россию в кармане носит?” – мелькнуло в голове Зорана. “Тролли залупить решили”, – подумал Горан.

Прошло несколько мучительных секунд. Рыжие брови Зорана стали вызывающе изгибаться, рука Горана потянулась к карману. Но вдруг большие, озорно крякнув, размахнулись и хлопнули друг друга по ладоням.

Звук был оглушающ для маленьких.

Маленькие вздрогнули.

Большие рассмеялись. Смех их загрохотал в гофристой крыше пакгауза.

– Шутка? – вскинул брови Зоран.

– Шутка... – угрюмо кивнул Горан.

Большие развернулись и зашагали к двери. Подошли. Согнулись. На карачках по очереди пролезли в дверь. Дверь захлопнулась.

– Шутники, а? Хорошие ребята! – Зоран возбужденно заходил по столу, хватаясь за лацканы.

– Хорошие... – процедил Горан и вытянул из кармана куртки дорогой молниевый разрядник. – Я уж думал их подзарядить...

Он сплюнул. Рассмеялся, пройдясь своей кривоногой, словно готовящей к древнему танцу, походкой. И вдруг резко пнул одиноко стоящий стакан человеческого размера. Тот слетел со стола, теряя подстаканник, звякнул по лавке, рассыпался осколками.

– Пойдем, пойдем, глянем! – засуетился Зоран, полез вниз.

- Еще горячие. Путь остынут.

- Глянем, глянем, пока люди не пришли!

Они слезли на пол, подошли к опокам. Их было двадцать. Горану они напомнили старую капиталистическую фильму про инопланетных чудовищ, откладывающих такие вот землистые яйца-коконы. Из этих яиц потом вылуплялись какие-то неприятные твари.

Зоран подбежал к ящику с инструментом, схватился было за кувалду, но не смог ее даже сдвинуть с места. Нашел молоток, поднял над головой как знамя, побежал к опокам.

- Р-раз! - с разбега он ударил по опоке.

Отлетели кусочки.

- Р-раз! Два! Три! - Зоран бил яростно, настойчиво, как в последний раз.

“Вот так он и выступает...” - сумрачно подумал Горан, выбил трубку об опоку, стал ковырять в ней пустым теллутовым гвоздем, вычищая.

Зоран, быстро уставший, протянул ему молоток. Горан спрятал трубку и стал бить по опоке - неспешно и сильно.

С шестого удара опока треснула, посыпалась. Внутри сверкнуло литье. Маленькие принялись ногами крушить опоку. Новое, исходящее паром литье с лязгом вывалилось на пол: четыре десятка кастетов. Горан вытянул из ящика железный прут, подцепил горячий, дымящийся кастет, поднял.

- Прек-расно! - сощурился Зоран. - Народное оружие! Пра-виль-ное!

Он протянул свою ручку, растопырил пальцы, примеряясь. Кастет был предназначен для среднего класса, то есть для обыкновенных людей. Большому, отлившему эти кастеты, он стал бы перстнем на мизинце, маленькому, оплатившему эту отливку, кастет не пришелся бы впору даже на ногу.

- Восемьсот, – напомнил Горан.

- Это восемьсот сокрушителей! Это сила!

- Восемьсот героев, – серьезно кивнул Горан.

- Восемьсот мертвых упырей! – потрясал кулачками Зоран.

В кармане у Горана запищала умница. Отбросив прут с кастетом, он достал ее, растянул перед собой привычно резким движением, словно гармонь. В полупрозрачной умнице возникла голова средневекового витязя.

- Большие ушли, клопсов нет, – доложил рыцарь.

- Люди? – спросил Горан.

- Здесь.

- Пятерками.

- Понял.

Горан убрал умницу. Зоран, вцепившись в свое пальто, нетерпеливо заходил вокруг пустого тигля. Горан достал трубку, подпрыгнул, сел на опоку.

“И жопу погрееет...” – подумал он и, набивая трубку, спросил:

- Вторую отливку... когда?

- Накануне! – Зоран шлепнул ладошкой по тигелю. – На-ка-нуне!

- Вождю виднее, – кивнул Горан.

Через двадцать три минуты в дверь без стука вошли пятеро людей пролетарского вида с сумками и рюкзаками.

My sweet, most venerable boy (My sweet, most venerable boy – Мой сладостный, предосточтимый мальчик (англ.)), вот я и в Московии. Все произошло быстрее и проще обычного. Впрочем, говорят, въехать в это государство гораздо легче, чем выехать из него. В этом, так сказать, метафизика этого места. Но к черту! Мне надоело жить слухами и догадками. Мы, радикальные европейцы, предвзяты и насторожены к экзотическим странам лишь до момента проникновения. Проще говоря – до интимной близости. Которая у меня уже произошла. Поздравь старого тапира! Да. Прелестный шестнадцатилетний moskovit сегодня ночью стал теми самыми узкими воротами, через которые я вошел в местную метафизику. После этой ночи я многое узнал о московской этике и эстетике. Все вполне цивилизовано, хоть и не без дичи: парень, например, перед нашей близостью завесил полотенцами оба зеркала в моем номере, погасил свет и затеплил свечку. Которую принес с собой. Я же (не сердись) позволил подкрепить свои усилия теллуrom. А утром услышал (и подсмотрел), как прелестный Fedenka продолжительно молился в ванной комнате, стоя на коленях перед маленькой раскладной иконкой, отлитой из меди (skladen), которую он водрузил в углу душевой кабины на полочку вместо шампуня. Это было трогательно до такой степени, что, наблюдая в щель этого коленопреклоненного Адониса, одетого в одни лишь клетчатые трусики, я неожиданно возжелал. Что случается со мной по утрам, как ты хорошо знаешь, крайне редко! Не дождавшись окончания молитвы, я вломился в ванную, обнажил престол моего наложника и проник в его глубины своим требовательным языком, вызвав удивленный возглас. Дальнейшее представимо... Скажу тебе вполне искренне, мой друг, это прекрасно, когда день начинается с молитвы. Такие дни почти всегда удаются и запечатлеваются в памяти. И мой первый день в Московском государстве не стал исключением. Расплатившись с кареглазым Fedenka (3 рубля за ночь + 1 рубль за утро = 42 фунта), я довольно сносно позавтракал в моем недорогом отеле Slavyanka (чай из samovar, sirniki со сметаной, kisel, булки, мед) и отправился на прогулку. Погода удалась – ясно, солнечно, свежо. В столице Московии стоит ядреный октябрь, на немногочисленных деревьях еще желтеют листья. Ты знаешь, я не любитель достопримечательностей как таковых и никогда не был туристом. Твой друг любит все пробовать на язык (не хмыкай, циник!), не доверяя вкусу толпы. На первый вкус Москва мне не очень понравилась: сочетание приторности, нечистоплотности, технологичности, идеологичности (коммунизм

+ православие) и провинциальной затхлости. Город кишит рекламой, машинами, лошадьми и нищими. Если говорить гастрономически, Москва – это okroshka. Особая тема – воздух. В Москве на газе и электричестве ездят только государственные мужи и богатеи. Простой народ и общественный транспорт обходится биологическим топливом. В основном это картофельная пульпа, благо картофелем со времен Екатерины II Московия не обеднела. Собственно, этот картофельный выхлоп и сообщает тамошнему воздуху приторно-затхлый привкус, распространяющийся на все вокруг. И когда пробуешь на язык главные московские блюда – Кремль, Большой театр, собор Василия Блаженного, Царь-пушку, – этот не очень, скажем, аппетитный соус портит картину и оставляет неаппетитное послевкусие. Но, повторяю, это только в первый день. На второй я уже привык, как привык к вони Каира, Мадраса, Венеции, Нью-Йорка, Бухареста. Увы, дело не в запахе. Просто Москва – странный город. Да, странный город со своей неповторимой странностью. И меньше всего его хочется назвать столицей. Это трудно объяснить тебе, никогда здесь не бывавшему и вполне равнодушному к местной истории. Но я все-таки попытаюсь, благо сейчас у меня еще полтора часа до приезда картофельного такси, должного увезти меня в аэропорт Внуково. Итак, смысла нет рыться в дореволюционной истории Российской империи, являвшей миру азиатско-византийскую деспотию в сочетании с неприлично безразмерной колониальной географией, суровым климатом и покорным населением, большая часть которого вела рабский образ жизни. Гораздо интереснее век двадцатый, начавшийся с мировой войны, во время которой монархический колосс Россия зашатался, затем вполне естественно накатил буржуазная революция, после чего он стал валиться навзничь. Вернее – она. Россия – женского рода. Имперское сердце ее остановилось. Если бы она, эта прекрасно-беспощадная великанша в алмазной диадеме и снежной мантии, благополучно рухнула в феврале 1917-го и развалилась на несколько государств человеческого размера, все оказалось бы вполне в духе новейшей истории, а народы, удерживаемые царской властью, обрели бы наконец свою постимперскую национальную идентичность и зажили свободно. Но все пошло по-другому. Великанше не дала упасть партия большевиков, компенсирующая свою малочисленность звериной хваткой и неистощимой социальной активностью. Совершив ночной переворот в Санкт-Петербурге, они подхватили падающий труп империи у самой земли. Я так и вижу Ленина и Троцкого в виде маленьких кариатид, с яростным кряхтением поддерживающих мертвую красавицу. Несмотря на “лютую ненависть” к царскому режиму, большевики оказались стихийными неоимпериалистами: после выигранной ими гражданской войны труп переименовали в СССР – деспотическое государство с централизованным управлением и жесткой идеологией. Как и положено империи, оно стало расширяться, захватывая новые

земли. Но чистым империалистом новой формации оказался Сталин. Он не стал кариатидой, а просто решил поднять имперский труп. Это называлось *kollektivizacia + industrializacia*. За десять лет он сделал это, поднимая великаншу по методу древних цивилизаций, когда под воздвигаемое изваяние последовательно подкладывались камни. Вместо камней Сталин подкладывал тела граждан СССР. В результате имперский труп занял вертикальное положение. Затем его подкрасили, подрумянили и подморозили. Холодильник сталинского режима работал исправно. Но, как известно, техника не вечно служит нам, вспомни твой прекрасный красный BMW. Со смертью Сталина началось размораживание трупа. С грехом пополам холодильник починили, но ненадолго. Наконец телеса нашей красавицы оттаяли окончательно, и она снова стала заваливаться. Уже поднимались новые руки и постсоветские империалисты были готовы превратиться в кариатид. Но здесь наконец к власти пришла мудрая команда во главе с невзрачным на первый взгляд человеком. Он оказался великим либералом и психотерапевтом. На протяжении полутора десятка лет, непрерывно говоря о возрождении империи, этот тихий труженик распада практически делал все, чтобы труп благополучно завалился. Так и произошло. После чего в распавшихся кусках красавицы затеплилась другая жизнь. Так вот я, my dear Todd, нахожусь сейчас в Москве – бывшей голове великанши. После постимперского распада Москва прошла через многое: голод, новая монархия + кровавая *opríchnina*, сословия, конституция, МКП, парламент. Если попытаться определить нынешний режим государства Московии, то я бы назвал его просвещенным теократокоммунофеодализмом. Каждому свое... Но я пустился в этот исторический экскурс лишь затем, чтобы попытаться объяснить тебе странную странность этого города. Вообрази, что ты, заброшенный провидением на остров великанов, застигнут непогодой и вынужден переночевать в черепае давно усопшего гиганта. Промокший и продрогший, ты забираешься в него через глазницу и засыпаешь под костяным куполом. Легко представить, что сон твой будет наполнен необычными сновидениями не без героического (или ипохондрического) гигантизма. Собственно, Москва – это и есть череп империи русских, а странная странность ее заключена в тех самых призраках прошлого, кои мы именуем “имперскими снами”. Вдобавок они еще пропитаны картофельным выхлопом. Сны, сны... Россия во все времена вела спящий образ жизни, пробуждаясь ненадолго по воле заговорщиков, бунтарей или революционеров. Войны тоже долго не мучили ее бессонницей. Почесавшись со сна в беспокойных местах своего тела, великанша заворачивалась в снега и засыпала снова. Храп ее сотрясал дальние губернии, и тамошние чиновники тоже тряслись, ожидая грозного столичного ревизора. Она любила и умела видеть цветные сны. А вот реальность ее была сероватой: хмурое небо, снега, дым отечества вперемешку с метелью, песня ямщика, везущего осетров или

декабристов... Похоже, просыпалась Россия всегда в скверном настроении и с головной московской болью. Москва болела и требовала немецкого аспирина. И все-таки в этом городе при всей его пафосно-государственной неказистости есть своя прелесть. Это прелесть сна давно умершего великого государства, который вдруг приснился тебе. И вот она-то как раз трудноописуема, так как русский государственный сон имеет свой неповторимый... и т. д. Поэтому я не буду более тратить твое внимание и энергию своих подагрических пальцев, а по приезде постараюсь рассказать и показать тебе если и не всю Москву, то хотя бы Tsar-pushka. В нашей заслуженной постели. В общем, я доволен поездкой. В мой старый фамильный глобус можно воткнуть очередную булавку. Зимой слетаем с тобой к сладеньким вьетнамским пупсикам. А по весне навестим послевоенную Европу. Перед приездом такси я еще успею выкурить rapirosa и выпить немного русской клюквенной водки.

До встречи в родном неоимперском черепе, полном мозгового тумана и англосаксонской трезвости.

Yours,

Leo

III

Аще взыщет Государев топ-менеджер во славу КПСС и всех святых для счастья народа и токмо по воле Божьей, по велению мирового империализма, по хотению просвещенного сатанизма, по горению православного патриотизма, имея прочный консенсус и упокоение душевное с финансовой экспертизой по капиталистическим понятиям для истории государства российского, имеющего полное высокотехнологическое право сокрушать и воссоединять, воззывать и направлять, собраться всем миром и замастырить шмасть по святым местам великого холдинга всенародного собора и советской лженауки, по постановлению домкома, по стахановским починам всенародных нанотехнологий Святаго Духа, в связи с дальнейшим развертыванием демократических мероприятий в скитах и трудовых коллективах, в домах терпимости и детских учреждениях, в съемных хазах и упакованных хавирах, в

стрелецких слободах и строительных кооперативах, в редакциях многотиражных газет, в катакомбных церквях, в ратных единоборствах, в коридорах власти, в генных инкубаторах, на шконках в кичманах, на нарах и парашах в лагерях нашей необъятной Родины по умолчанию к буферу обмена, знающего, как произвести некоммерческое использование и недружественное поглощение, как эффективно наехать, прогнуть, отжать, отметелить, опустить и замочить в сортире победоносную славу русского воинства в свете тайных инсталляций ЦК и ВЦСПС, сокрушивших лютых врагов и черных вранов всего прогрессивного человечества комсомольским бесогоном аффилированной компании через правильных пацанов православного банка, сохраняющего и приумножающего империалистические традиции богатырского хайтека в особых зонах народного доверия на берегах великой русской реки, в монашеских кельях и в монарших передовицах, в коммунистических малявах и в богословских объявах, в сексуальных постановлениях и в черных бюджетах, в отроцех невинноубиенных за валютные интервенции, за хлеб и за соль, за шепот и за крик, за семя и овамо, за президентский кортеж, за зоологический антисоветизм, за белую березу под моим окном, за пролетарский интернационализм, за хер и за яйца, за доллары и за евро, за смартфоны седьмого поколения, за вертикаль власти и за надлежащее хранение общака, наперекор земле и воле, назло черному переделу и белому братству для неустанного духовного подвига андроидов, пенсионеров, национал-большевиков, хлеборобов, ткачей, полярников, телохранителей, гомосексуалистов, политтехнологов, врачей, антропогенетиков, боевиков, серийных убийц, работников культуры и сферы обслуживания, стольничих и окольныхничих, стриптизеров и стриптизерш, оглашенных и глухонемых, тягловых и дворовых, старых и молодых, всех честных людей, гордо носящих имена Василия Буслаева, Сергия Радонежского и Юрия Гагарина, ненавидящих врагов фальсификаторов русской истории, неустомимо борющихся с коммунизмом, православным фундаментализмом, фашизмом, атеизмом, глобализмом, агностицизмом, неофеодализмом, бесовским обморачиванием, виртуальным колдовством, вербальным терроризмом, компьютерной наркоманией, либеральной бесхребетностью, аристократическим национал-патриотизмом, геополитикой, манихейством, монофизитством и монофелитством, евгеникой, ботаникой, прикладной математикой, теорией больших и малых чисел за мир и процветание во всем мире, за Царство Божие внутри нас, за того парня, за Господа Иисуса Христа, за молодоженов, за свет в конце тоннеля, за День опричника, за подвиг матерей-героинь, за тех, кто в море, за академиков Сахарова и Лысенко, за Древо Жизни, за БАМ, КАМаз и ГУЛАГ, за Перуна, за гвоздь теллуrowый, за дым отечества, за молодечество, за творчество, за иконоборчество, за ТБЦ, за РПЦ, за честное имя, за коровье вымя, за теплую

печку, за сальную свечку, за полный стакан, за синий туман, за темное окно, за батьку Махно во имя идеалов гуманизма, неоглобализма, национализма, антиамериканизма, клерикализма и волюнтаризма ныне и присно и во веки веков. Аминь.

IV

В четверть седьмого она вышла из подъезда своего дома, и сердце мое сжалось: впервые увидев ее издали, я был потрясен, я не мог предположить, что она столь хрупка и миниатюрна, даже уже и не школьница, а почти Дюймовочка, девочка из давно написанной сказки, чудесный эльф в серенькой шапочке и коротеньком черном плаще, идущий ко мне по Гороховскому переулку.

– Здравствуйте! – Ее голосок, мальчишеский, грубовато-очаровательный, который я не спутаю ни с каким другим, который звучал в телефонной трубке всю эту нелепую, проклятую, резиново тянущуюся неделю, чуть не сведшую меня с ума, неделю нашей мучительной, идиотской невстречи.

Мои руки тянутся к ней, прикасаются, трогают, держат. Я хочу убедиться, что она не призрак, не голограмма в громко мнущемся плаще.

– Здравствуйте, – повторяет она, наклоня голову и исподлобья глядя на меня чудесными зелено-серыми глазами. – Что же вы молчите?

А я молчу. И улыбаюсь как идиот.

– Долго ждать изволили?

Я радостно-отрицательно мотаю головой.

– А я невозможно зашиваюсь с хуманиорой. – Скосив глаза в заваленный мусором переулок, она поправляет шарфик. – Ума не приложу, что делать. Токмо третьего дня раздать пособия соизволили наши храпаидолы. Представляете?

Прелесть моя, ничего и никого я не представляю, кроме тебя.

- Правда долго ожидали? – Она строго морщит тончайшие брови.

- Вовсе нет, – произношу, словно учусь говорить.

- Пойдемте, подышим кислородом. – Она вцепляется в мой рукав своей маленькой рукой, тащит за собой. – Ваша ответчица – полная байчи[1 - Байчи – идиот, идиотка (кит.)], не знаю, я звоню ей, говорю определенно: прошу передать ему, что я не в завязи, наша с мамой умница намеренно опять скисла, вроде простая просьба ведь, правда? А она мне: милочка, мне некому это передать. Господи, твоя воля, а красную занозу воткнуть зело трудно?! Юйван[2 - Юйван – идиотизм (кит.)]! Вот вредина! Накажите ее!

- Накажу непременно.

Иду рядом с моей прелестью как зомби.

Она держится за мою руку, полусапожки цокают по асфальту, крошат подмороженные с ночи лужицы. Жаль, что на ней сейчас не форма, а цивильное. В форме она еще очаровательней. В форме на школьной площадке я ее и увидел впервые. Стоя в мелком очерченном круге, девочки играли в свою любимую игру. Полетел вверх красный мяч, выкрикнули ее имя. Она бросилась, но не поймала сразу, мяч ударился об асфальт, отскочил, она схватила его, прижав к коричневой форменной груди со значком “ВЗ”[3 - “ВЗ” – Восточное Замоскворечье, школьный региональный значок.], выкрикнула: “Штандер!” И разбежавшиеся школьницы замерли, парализованные строгим немецким словом. Она метнула мяч в долговязую подругу, попала ей в голову, заставив громко-недовольно ойкнуть, и прыснула, зажав рот ладошкой, и полуприсела на прелестных ногах, и закачала очаровательной, оплетенной косою головкой, бормоча что-то извинительное, борясь со своим дивным смехом...

Губы ее, прелестные, слегка вывернутые, увенчанные сверху золотистым пушком, роняют чудесные слова:

- Все с ума посходили, честное слово. Стою вчера в очереди за говядом в Аптекарском, вдруг сзади кто-то – толк, толк в спину. Что еще такое? Рука с запиской: я немой, прошу покорно Христа ради купить мне три фунта говяжьих мослов. И главное – его самого разглядеть нет никакой возможности. Ни лица,

ни тела? Вижу токмо руку! А сам индивидуум где?!

На этой фразе она останавливается и топает каблучком.

– Он, вероятно, был ослеплен вашей красотой, поэтому скрывался за спинами других стояльцев, – неуклюже шучу я.

– Какая там красота! Это же просто фокус, вы не поняли?! Какой-то жулик из ворованной умницы руку слепил!

– Ах вот оно что...

– В том и дело! И рука сия преспокойно гуляет себе по очереди. Может милостыню попросить, а может и в карман заглянуть. Вот и все!

– Дайте мне вашу руку, – говорю я вдруг и сам забираю ее ручку в перчатке.

– Отчего? – смотрит она исподлобья.

Я отвожу рукав плаща и припадаю губами к детскому запястью, к тоненьким венам, к дурманящей теплоте и нежности. Не противясь, она глядит молча.

– Я без ума от вас, – шепчу я в эти вены. – Я от вас без ума... без ума... без ума...

Ее сказочное эльфийское запястье не шире двух моих пальцев. Я целую его, припадаю, как вампир. Вторая детская ручка дотягивается до моей головы.

– Вы решительно рано поседели, – произносит она тихо. – В сорок семь лет и уже почти седой? На войне?

Нет, я не был на войне. Я обнимаю ее, поднимаю к своим губам. Вдруг она проворно, словно ящерка, выскальзывает из объятий, бежит по переулку. Я пускаюсь вслед за ней. Она сворачивает за угол. Отстаю. Бегаю она превосходно.

– Куда же вы? – Я тоже сворачиваю за угол.

Ее черный плащик с серой шапкой мелькает впереди. Она бежит по Старой Басманной к серой громадине кольцевой стены, отделяющей Москву, где проживаю я, от Замоскворечья, где живет она. Подбегает, встает к стене спиной, разводит руки.

Спешу к моему проворному эльфу.

Ее фигурка столь мала на фоне двенадцатиметровой стены, нависшей серой, мутной волной. Мне становится страшно: вдруг это бетонное цунами накроет мою радость? И мне никогда не придется держать ее в своих объятьях?

Срываюсь, подбегаю.

Она стоит, закрыв глаза, прижав разведенные руки к стене.

– Люблю стоять здесь, – произносит она, не открывая глаз. – И слушать, как за стеною Москва гудит.

Поднимаю ее как пушинку, шепчу в большое детское ухо:

– Смилуйтесь надо мной, мой ангел.

– И чего же вы хотите? – Ее руки обвивают мою шею.

– Чтобы вы стали моей.

– Содержанкой?

Чувствую, как смешок торкается в ее животике.

– Возлюбленной.

– Вы желаете тайного свидания?

– Да.

- В номерах?

- Да.

- Сколько это будет стоить?

- Десять рублей.

- Большие деньги, - рассудительно, но с какой-то недетской грустью произносит она в мою щеку. - А можно мне... на землю?

Я опускаю ее. Она поправляет свой беретик. Ее лицо сейчас как раз возле моего солнечного сплетения, где происходят спорадические атомные взрывы желания.

- Пойдем? - Она берет меня за руку, словно я ее однокашница.

Мы идем вдоль стены, распикивая ногами мусор. Она раскачивает мою руку. В Замоскорежье по-прежнему грязно и неприбрано. Но мне нет дела до мусора, до Замоскворечья, до Москвы, до Америки, до китайцев на Марсе. Я люблю сосредоточенным личиком моей вожденной. Она думает и решает.

- Знаете что, - медленно произносит она и останавливается. - Я согласна.

Я сгибаю ее в охапку, начинаю целовать теплое бледное личико.

- Подождите, ну... - упирается она мне в грудь. - Я смогу только на следующей неделе.

- Бессердечная! - опускаюсь я перед ней на колени. - Я не доживу до следующей недели! Умоляю - завтра, в "Славянском базаре", в любое время.

- Хуманиора, - вздыхает она. - К послезавтраму надобно написать и сдать. Иначе - сделают мне плохо. С первой четверти я в черном списке. Надобно исправляться.

- Я умоляю вас, умоляю! - целую я ее старенькие перчатки.

– Поверьте, я бы плюнула на хуманиору, но мамаша так страдает, когда меня наказывают. Она зело сердобольна. А кроме мамаша у меня никого нет. Папаша на войне остался. И братец старший. Чертова хуманиора...

– Когда же я смогу насладиться вами? – сжимаю я ее ручки.

Серо-зеленые глаза задумчиво косятся на стену.

– Пожалуй... в субботу.

– В пятницу, ангел мой, в пятницу!

– Нет, в субботу, – серьезно ставит она точку.

Внутренне она гораздо старше своих детских лет. Раннее взросление у этих детей войны. Отец ее погиб под Пермью. В этом возрасте мы были другими...

– Хорошо, в субботу. В шесть вас устроит?

– Угу... – гукает она совсем по-мальчишья.

– Там превосходный ресторан, у них фантастические десерты, лимонады, торты, невозможные шоколадные башни...

– Я люблю pistaшковое мороженое, какао со сливками и белый шоколад. – Она поправляет мое выбившееся кашне. – Встаньте, тут грязно, а вы в хорошем.

Приподнимаясь с колена, вдруг замечаю возле себя в мусоре пустой, почерневший теллутовый гвоздь. Поднимаю, показываю ей:

– Хорошо живут у вас в Замоскворечье!

– Ух ты! – восклицает она, забирает у меня гвоздь и вертит перед глазами.

Я держу ее за плечи.

– Стало быть, в субботу в шесть?

– В шесть, – повторяет она, разглядывая гвоздь. – Да... везет же кому-то. Вырасту – пробирую непременно.

– Зачем вам теллур?

– Хочу с папашей и с братцем встретиться.

Другая бы ответила, что хочет встретиться с прекрасным принцем. Вот что война делает с детьми...

Мимо проезжают три грузовика с подмосковичами в желтых робах. В последнем грузовике что-то распевают.

Со вздохом зависти она швыряет гвоздь в стену, вздыхает, трогает мою пуговицу:

– Пойду я.

– Я провожу вас.

– Нет-нет, – решительно останавливает она. – Сама. Прощайте уже!

Она взмахивает ручкой, поворачивается и убегает. Провожая ее взглядом голодного льва. Лань моя убегает. И каждый промельк ее коленок и полусапожек, каждое покачивание плаща, каждое вздрагивание серого берета приближает миг, когда в полумраке номера я, насосавшись до головокружения ее телесных леденцов, плавно усажу этого замоскворецкого эльфа на вертикаль моей страсти и стану баюкать-покачивать на волнах нежного забвения, заставляя школьные губы повторять волшебное слово “хуманиора”.

– Рихард, готовность 7! – Голос Замиры поет в правом ухе у Рихарда.

Двигаясь в оглушительной карнавальной толпе, он слышит в правом ухе пиканье цифр, каждая из которых вспыхивает красным у него в правом глазу, и начинает репортаж:

– Итак, дорогие телезрители, с вами Рихард Шольц, RVTB[4 - RVTB – Рейнско-вестфальское телевидение.], мы снова в Кельне, где продолжается долгожданный кельнский карнавал. Три года мы все ждали этого Розового Понедельника, чтобы выйти на улицы родного города. Три года кельнцы не могли этого себе позволить по злобной воле оккупантов, считавших наш карнавал “дыханием шайтана”. И вот сейчас, когда мы победили, у некоторых членов нашего молодого правительства уже появился опасный синдром – короткая память. Они не хотят вспоминать, отмахиваются, говорят, что хватит ворошить прошлое, надо жить настоящим и двигаться в будущее, подобно этой радостной карнавальной толпе. Но это опасная тенденция, и надо повторять это до тех пор, пока синдром “короткой памяти” не покинет министерские и парламентские головы. Карнавал – это прекрасно! Но я хочу напомнить вам именно сейчас, именно в этот радостный день, напомню, чтобы вы и ваши дети никогда не забыли, как три года назад девятнадцать транспортных “геркулесов”, вылетевших из Бухары, в тихое майское утро, на рассвете, высадили в пригороде Кельна Леверкюzene десантную дивизию “Талибан”. И начались три года мрачной талибской оккупации Северного Рейна – Вестфалии. Началась другая жизнь. Талибы хорошо подготовились к захвату власти, они провели масштабную подпольную работу, используя радикально настроенных исламистов из местного населения, а потом...

– Рихард, короче! – поет в ухе голос Замиры.

– А что было потом – все мы помним: казни, пытки, телесные наказания, запрет алкоголя, кино, театра, унижение женщин, депрессия, гнетущая атмосфера, инфляция, коллапс, война. Давайте же сделаем так, чтобы в нашем молодом государстве, в Рейнско-Вестфальской республике, это бы никогда не повторилось, чтобы ваххабитско-талибанский молот больше никогда не навис над Рейном, чтобы мы и наши дети жили в свободном государстве, с оптимизмом глядя в будущее, но вспомним, вспомним слова поэта, написанные о войне...

В его правом глазу возникают на выбор четыре цитаты из Целана, Брехта, Хайма и Грюнбайна.

– “Черное млеко рассвета пьем мы вечером, ночью и в полдень”. Три года наш народ пил это черное молоко оккупации, многие вестфальцы вырыли себе те самые “могилы в небе, где тесно не будет лежать”, так поклонимся же этим могилам, этим героям Сопротивления, чтобы без страха и упрека двигаться вперед, к лучшему будущему...

– Рихард, внимание, слева: президент и канцлер! – осой звенит в ухе Замира.

– Друзья, я вижу впереди слева нашего президента генерала Казимира фон Лютцова и канцлера Шафака Баштюрка. Как я уже говорил в прошлых репортажах, они присоединились к карнавальной толпе на Аппельхофплац, прошли по Брюкенштрассе сюда, к Старому рынку. До этого они двигались пешком, пробиться к ним было крайне проблематично даже мне, экс-чемпиону Кельна по ушу, но вот теперь они сели на лошадей, на прекрасных рыцарских боевых коней, президент – на белого коня с белой попоной с крестами, а канцлер – на вороного, с зеленой попоной с полумесяцем, это символично, друзья мои, это прекрасно и актуально, так как символизирует не только политику нашего государства, но и единение двух культур, двух цивилизаций, двух религий, католической и мусульманской, единение, которое помогло нашей стране одолеть коварного и сильного врага, помогло выстоять в жестокой войне. Президент и канцлер бодры, радостны, полны сил, они одаривают толпу конфетами из вот этих огромных золотистых рогов изобилия, они выглядят как настоящие рыцари, которыми, собственно, и являются. Все мы помним знаменитый зимний поход генерала фон Лютцова на Кельн от нидерландской границы, мы не забыли сводки военного времени: освобождение Оберхаузена, кровопролитные бои под Дуйсбургом, блистательная дюссельдорфская операция и уже вошедший в современную военную историю бохумский “котел”, устроенный армией генерала фон Лютцова талибам, “котел”, сломавший хребет Талибану, после которого отступление врага, а точнее сказать – бегство, стало уже необратимым, когда талибанские головорезы побежали в панике к восточной границе, а их идейный вдохновитель, так называемый Горящий имам, обрел свою...

– Рихард, достаточно о президенте. Переходи к канцлеру.

– ...заслуженную смерть на улицах разрушенного талибами Тройсдорфа. А в это время Шафак Баштюрк, будущий канцлер нашего государства, вел героическую и кропотливую работу в кельнском подполье, создавая свою армию

Сопrotивления, куя Экскалибур победы в городских подвалах, приближая крах талибов. Этот героический человек, патриот Рура, в прошлом инженер-теплотехник, в годы оккупации стал живой легендой, героем подполья, сплотившим вокруг себя мусульман-единомышленников, горящих ненавистью к варварскому талибанскому режиму. Награда за его голову, обещанная талибами, росла не то что с каждым месяцем, а с каждым днем! Армия сопротивления “Сербест Эль”[5 - “Сербест Эль” - “Свободная рука” (турецк.)] лишила оккупантов спокойной жизни, благодаря мудрости и героизму бойцов “Сербест Эль” земля буквально горела под сандалиями талибов, а их...

- Рихард, достаточно о прошлом. Настоящее, настоящее!

- ...а их дни были сочтены. Зато теперь мы все можем насладиться не только победой в войне, но и этим карнавалом, первым за три года, чудесным, радостным, красивым, громким, этим Розовым Понедельником, смотрите, сколько оттенков розового в праздничной толпе, сколько детей, наряженных цветами, с головами в виде розовых бутонов! Это дети нашего будущего, дети, которым предстоит стать гражданами нашего молодого государства и хранить мир, завоеванный отцами в полях под Дуйсбургом, в пригородах Бохума, на улицах Кельна. Пусть же они будут счастливы! Президент и канцлер бросают в толпу конфеты из золотых рогов изобилия - это ли не надежда на мир, достаток и благополучие?

- Рихард, публика, общение.

- Друзья, теперь самое время пообщаться с участниками карнавала, - обращается к паре среднего возраста, наряженной средневековыми шутами. - Здравствуйтесь! Откуда вы?

- Из Пульхайма! Привет всем! Привет, Кельн!

- Ясно и без слов, что вы рады и счастливы быть здесь сегодня!

- Конечно! Карнавал вернулся! Круто!

- Карнавал вернулся! И вместе с ним в ваш Пульхайм вернулась мирная жизнь.

- О да! Это символ! Мы победили! Наш сын ушел добровольцем к фон Лютцову.
- Он жив?
- Да, слава богу! К сожалению, он сейчас в Осло по служебным делам, он очень хотел присоединиться к нам. Но он с нами! - Парочка растягивает умницу, вызывает голограмму молодого человека. - Привет, Мартин!
- Привет, предки! Я с вами! Привет из Осло!
- Мартин, Рихард Шольц, РВТВ, о, как вы будете жалеть, что не взяли отпуск на работе, чтобы быть здесь и вдохнуть этот воздух свободы!
- Буду, буду жалеть, черт возьми, точно! Уже жалею! Я дурак, без сомнения! Вау! Я чувствую этот воздух!
- Сынок, здесь просто супер как хорошо! Такое чувство, что все породнились навсегда!
- Круто! Я слышу родной кельш[б - Кельш - кельнский диалект.] и просто балдею от него здесь, в тихом Осло.
- Мартин, ваши родители сообщили нам, что вы были в армии генерала фон Лютцова. Какие города вы освобождали?
- Я успел повоевать только в Дуйсбурге и Дюссельдорфе, а перед бохумским "котлом" получил контузию и выпал, так сказать, из процесса.
- Вы были на первом Дне Победы в Дюссельдорфе?
- Конечно! Это было круто! Фон Лютцов - великий человек. Я счастлив, что у нас такой президент!
- Вон он едет на белом коне!
- Вау! Круто! Черт, какой же я дурак, что не остался!

- Сынок, ты с нами, ты здесь!

- Мама, это же Шафак Баштюрк! Герой подполья! О, я бы пожал ему руку! Вау! Сейчас пойду в паб и напьюсь!

- Сынок, только не пей норвежского аквавита! Он вызывает депрессию!

- Мартин, только пиво!

- Сынок, нашего райсдорфа[7 - "Райсдорф" - сорт пива.] там, конечно, не нальют!

- Местного, местного!

- Заметано, папа!

- Мартин, скажите, в Осло по-прежнему все тихо и спокойно?

- Да, норвежцам повезло, здесь все обошлось без резни. Война не дошла, здания целы, всего-то парочка ракет упала. Не то что у нас. Вау! Я вижу троллей и гномов! Круто!

- Мы сейчас подойдем к троллям! Мартин, удачи вам!

Трое больших, наряженных троллями, несут на плечах гномов, бросающих в толпу конфеты. Рихард пробивается к ним.

- Рихард, стоп! Тролли подождут. Сзади Сабина Гргич, - звенит в ухе Замира.

Рихард оборачивается, движется по толпе назад. Высокая, мускулистая Гргич идет в окружении своих подруг-амазонок, таких же рослых и мускулистых. Они одеты в костюмы эльфийских воинов из "Властелина колец".

- Здравствуйте, Сабина! Рихард Шольц, РВТВ. Я и наши телезрители рады видеть вас, героиню бохумского "котла", здесь, в этой праздничной толпе!

– Приветствую всех достойных, – гордо, с чувством собственного достоинства поднимает руку Сабина.

Ее подруги тоже поднимают руки.

– Как ваша новая рука?

– Она еще не моя, но уже вполне повинуется, – улыбается Сабина.

– Дорогие телезрители, если кто не помнит историю Сабины Гргич, а я уверен, что таких единицы, так вот, для них я напоминаю: бохумский “котел”, здание университета, где был последний очаг сопротивления талибов, гуманитарный корпус, джип командующего третьим полком Георга Мария Хюттена, граната, брошенная талибами, Сабина Гргич, схватившая рукой гранату, спасшая командира и потерявшая руку. А до этого был бой на Хуштадтринге, где Сабина из своей “осы” подбила талибский бронетранспортер. Она герой! Честь карнавалу, что в нем участвуют такие герои, как Сабина Гргич и ее боевые подруги! Вы счастливы сегодня, Сабина?

– Я счастлива, что зло было повержено, что черная башня с Всевидящим Оком рухнула. Мы завалили ее!

Подруги-амазонки издают боевой клич.

– Прекрасно! Талибанский Саурон повержен, народ ликует! Сабина, что бы вы пожелали нашим телезрителям в этот день?

– Я желаю всем жителям нашего Рейнского королевства Золотого Ветра, Чистого Берега и Новой Зари. За Новую Зарю!

– За Новую Зарю! – кричат амазонки.

– Прекрасный клич бохумских валькирий! Мы не забыли его! Сабина, вы уже вернулись в родной Бохум?

– Мой дом на Аспае разрушили орки, возлюбленная Бруст сожжена в крематории гоблинов, крылатая Сильвия встретила с Вечностью, золотоволосая Маша

бежала в Америку. Но я держу Жезл, я сняла Белый Покров с Нефритовых Врат, я верю в Преодоление Серого Тумана. Как и прежде, мы плывем по Реке Чистой Любви.

Подруги Сабины издают Зов Валькирий.

– Прекрасно! Уверен, что ваша Река Чистой Любви сегодня впадает исключительно в Рейн! Сабина, прекрасные амазонки, будьте счастливы! От имени всех телезрителей я целую вашу прекрасную обновленную руку, руку новой, мирной жизни!

Опускается на колени перед Сабиной, целует ей руку.

– Рихард, справа, справа, справа! – зудит Замира. – Цветан Мордкович!

– Друзья, смотрите, кто оказался совсем рядом! Цветан Мордкович, прославленный ас, воздушный гусар, защищавший небо нашей страны, наносящий жгущие удары с воздуха! Привет, Цветан!

– Привет!

– Вы с семьей, она у вас такая большая!

– Да, мы сегодня здесь всей командой!

– Что вы, герой неба, можете сказать нашим телезрителям?

– Я очень рад, что сегодня здесь, вместе со всеми...

– Наконец на земле, да?

– Да, на земле, с моими родными, со всеми, кого я защищал.

– Благодаря вам мы сегодня можем спокойно ходить по этой земле, не опасаясь бомбовых ударов, не боясь взрывов и свиста пуль. Над Кельном больше не воеет сирена воздушной тревоги. Цветан, это благодаря вашим воздушным подвигам!

Вы лично сбили четыре талибских самолета, четырех стервятников, терзающих наше мирное небо.

- Да, что-то получилось. Главное, что меня не сбили. Небо помогало.

- А небо-то какое сегодня, Цветан! Как по заказу - ни облачка!

- Небо прекрасное, мы все очень рады...

- Что темные тучи рассеялись, да?

- Да, что теперь все хорошо...

- Что в небе только солнце, да? И никаких черных силуэтов!

- Да, мирное небо - это хорошо.

- Здорово сказано, Цветан. Вы хотите передать привет однополчанам эскадрильи "Вестфальский сокол"?

- Да, парни, да, гусары Воздуха, я вас всех помню и люблю! Мы победили! Да здравствует карнавал!

- Да здравствует карнавал! Спасибо, Цветан! Друзья, а сейчас мы идем к троллям!

- Рихард, стоп, продолжает Фатима, ты свободен.

Рихард снимает со своего плеча кусок умного пластика, сминает, убирает в карман. С трудом выбирается из толпы, выходит на Фильценграбенштрассе, находит свой самокат, отстегивает, встает на него и катит по набережной до самого дома. Входит в подъезд, поднимается на третий этаж, открывает ключом дверь, входит в прихожую, снимает пиджак.

Голос Сильке, его жены (усиленный динамиком).

Это ты?

Рихард (вешая пиджак). Это я.

Голос Сильке. Есть хочешь?

Рихард. Очень.

Голос Сильке. Без меня.

Рихард. Ты уже?

Голос Сильке. Я еще.

Рихард проходит в небольшую кухню со старой обстановкой, открывает старомодный холодильник, достает бутылку пива, открывает, пьет из горлышка. Смотрит в холодильник, достает рисовую чашку, наполненную не очень свежим куриным салатом, пару сосисок. Кипятит чайник, кладет сосиски в кастрюльку, заливает кипятком. Стоя ест салат, откусывая от рисовой чашки, глядя в окно. За окном – узкий двор со старым каштаном, ржавыми велосипедами и переполненными мусорными контейнерами. Покончив с чашкой и салатом, достает из кастрюльки сосиски и быстро поедает их, запивая пивом. Опорожнив бутылку, ставит ее в пластиковый ящик для пустых пивных бутылок. Берет яблоко, откусывает, выходит из кухни, проходит по узкому коридору, заходит в туалет, мочится, держа яблоко в зубах. Потом замирает, словно оцепенев. Выплевывает недоеденное яблоко, злобно стонет, резко выходит из туалета, хлопнув дверью, застегиваясь на ходу, бормоча: “Дерьмо, дерьмо, дерьмо!”, почти бежит по коридору и попадает в единственную комнату его квартиры. Комната заставлена антикварной мебелью, которую, судя по всему, часто перевозили с места на место. Некоторые вещи запакованы в пластик. На овальном обеденном столе стоит стеклянный домик. Это дом Сильке, маленькой симпатичной блондинки со стройной фигурой. Ее рост не превышает трехсотмиллилитровую пивную бутылку. Сильке качается на миниатюрном лыжном тренажере, стоящем в мансарде ее домика. На ней спортивная одежда.

Слышно, что в домике звучит ритмичная музыка. Рихард почти подбегает к столу, опирается руками о столешню, нависая над домиком.

Рихард. Сильке, мне нужен гвоздь!

Сильке (продолжая двигаться). Хорошая новость.

Рихард. Мне нужен гвоздь!

Сильке. Дорогой, это скучно.

Рихард (кричит). Мне нужен гвоздь!

Сильке. Ты сотрясаешь мою крышу. Она может поехать.

С трудом сдерживаясь, Рихард садится на стул, кладет на стол сжатые кулаки.

Сильке (продолжая двигаться). У тебя крайне агрессивный вид. Ты устал, я понимаю. Я смотрела твой репортаж.

Рихард. Дай мне гвоздь.

Сильке. Дорогой, успокойся.

Рихард. Дай гвоздь!

Сильке. Еще три минуты, я закончу, приду к тебе, и мы вместе успокоимся.

Рихард (хлопает ладонью по столу). Мне нужен гвоздь!

Сильке (продолжает двигаться). Рихард, тебе не нужен гвоздь.

Рихард. Дай мне гвоздь!

Сильке. Рихард, ты принял лекарство?

Рихард. Сильке, открой дверь!

Сильке. Не открою.

Рихард (теряя самообладание). Я сейчас разнесу к черту твою избушку!!

Сильке. Не разнесешь.

Рихард (истерично). Открывай, гадина!!

Сильке. Дорогой, прими лекарство. Ты принимал только утром.

Рихард (хватает стул, замахивается). Ну держись, стерва...

Сильке (спокойно и размеренно двигаясь). Держусь, держусь.

Рихард с воплем швыряет стул на кровать. Опускается на пол.

Сильке. Ты просто устал. Я никогда не любила этот карнавал. Он изматывает.

Рихард (бессильно опустив голову). Дай гвоздь...

Сильке. Прими лекарство. Тебе сразу полегчает.

Рихард (кричит). Выключи эту чертову музыку!!

Сильке выключает музыку, сходит с тренажера, вешает на шею полотенце.

Сильке. Я понимаю, дорогой, как тебе противно нести всю эту патриотическую чушь. Но зачем ты срываешь свое раздражение на мне, твоим самом близком человеке?

Рихард молчит.

Сильке. Ты сделал все суперпрофессионально. Уверена, они утвердят тебя.

Рихард (опустив голову). Это решение не зависит от качества репортажа.

Сильке. Испытательный срок зависит от всего.

Рихард. В моем случае это зависит только от этой дуры.

Сильке. Их интересует только твоя психосома. Всем давно известен твой профессиональный уровень.

Рихард (качает головой). Да пошли они...

Сильке. Пошли и ушли. А потом вернулись. Надо их учитывать, дорогой.

Сильке спускается на второй этаж, входит в прозрачную душевую, раздевается, встает под душ.

Рихард. У нас не будет денег еще целый месяц. Сильке. Тебя это пугает? Мы с голоду не помрем. Рихард. Мне нужна доза.

Сильке. С этого бы и начинал. А то – “у нас нет денег”!

Рихард. Всего одна. И я приду в себя.

Сильке. Ты сорвешься. И они тебя не возьмут.

Рихард. Одна доза! Я не могу сорваться с одной дозы!

Сильке. Одной тебе не хватит. А на пять у нас, как ты только что озвучил, нет денег.

Рихард. Если продать один гвоздь, у нас будет пятьсот марок.

Сильке. Чтобы купить тебе дозу за двадцать? Занимательная арифметика, дорогой.

Рихард. У нас нет даже двух марок! Такого не было никогда! И я еще должен!

Сильке. Дорогой, все наладится, когда тебя утвердят. Прими лекарство.

Рихард. Дай мне гвоздь.

Сильке. Ты же знаешь, что гвозди – наш неприкосновенный запас. Если я дам тебе гвоздь, ты сразу купишь сто доз. И опять начнется все знакомое до боли.

Рихард. Куплю одну, одну-единственную дозу, клянусь!

Сильке. О, не клянись, мой славный рыцарь.

Рихард. У нас нет денег! Критическая ситуация! Нет ни пфеннига!

Сильке. Сейчас ни у кого нет денег. Послевоенная реформа, как говорит наш президент, медленно, но неуклонно набирает обороты. А цена на гвозди ползет вверх. Восемь процентов за три дня. Через пару месяцев мы удвоим мое теллуговое наследство.

Рихард. Один гвоздь, Сильке! А у нас их восемь! Всего один! И мы почувствуем себя нормально!

Сильке (выходит из душа, вытирается полотенцем). Я вполне нормально себя чувствую. Не проси.

Рихард. Ты... такая стерва?!

Сильке. Уж какую выбрал.

Рихард. Ты видишь, что мне плохо?

Сильке. Прими лекарство.

Рихард (кричит). Я в гробу видал это сраное лекарство!! Мне плохо! Реально!

Сильке (надевает халат). Рихард, ты сильный или слабый? Когда ты нес меня в кармане через горящий Бохум, я знала, что ты сильный. И когда мы сидели в подвале. И когда ты жарил собачье мясо. И когда бежал по тому тоннелю, и когда дрался с тремя инвалидами. Ты был сильный. Я гордилась тобой. Ужасно гордилась. Тогда ты забыл про наркотики. Но стоило войне закончиться, и ты в одночасье стал слабаком. Что с тобой?

Рихард. Мне нужен всего один гвоздь. Один! Чтобы прийти в себя.

Сильке (кричит). Я не дам тебе гвоздь!

Рихард сидит молча. Сильке спускается на первый этаж, проходит в кухню, выпивает воды, садится к столу, кладет на него ноги. Сидит, пьет воду.

Сильке. Через месяц они возьмут тебя в штат, выплатят зарплату. И у нас будут деньги.

Рихард. Мне... нужно...

Сильке. Тебе нужна доза. Хорошо. У меня есть записка.

Рихард. Какая? Что, кольцо с брильянтом твоей бабушки? Брильянты сейчас на хрен никому не нужны!

Сильке. Правильно. Не до них. Нет, не кольцо.

Сильке встает, идет наверх в свою спальню, садится на кровать, наклоняется, достает из-под кровати футляр, открывает. В футляре лежит вибратор.

Рихард. “Лиловый лотос”?

Сильке. “Лиловый лотос”.

Рихард. Он что... тебе больше не нужен?

Сильке. У меня есть три других вибратора.

Рихард. Но ты же говорила, что...

Сильке. Этот самый лучший? Да, говорила полгода назад. Но – все меняется, дорогой мой, время проходит, старые желания тоже. Появляются новые.

Рихард. А ты думаешь, что его...

Сильке. Оторвут с руками.

Рихард. Вообще-то по логике вибраторы востребованы во время войны, а не после.

Сильке. Для людей. А для маленьких – наоборот.

Рихард. Не понимаю что-то пока...

Сильке. Ты явно устал от этого послепобедного карнавала. Ну, сам посуди, мужчины возвращаются с войны к своим женам и любовницам. Они герои. У них мощная эрекция победителей. А маленькие? Они же не воевали, а сидели в крысиных норах, трясясь от страха. Гром победы грянул, они вылезли на свет. А их потенция осталась в этих норах. Что может такой любовник? Только пьянствовать, да рассказывать своей подруге про подвиги больших, да делать ей массаж ступней.

Рихард. Пожалуй... ты права. (Облегченно смеется.) Сильке, ты умная!

Сильке. Умная стерва, да?

Рихард. Ты... (Вздыхает.) Ты же знаешь, что у меня никого нет, кроме тебя.

Сильке. Знаю.

Сильке берет футляр с вибратором, спускается вниз, выходит из домика, идет по столу.

Сильке (протягивает ему футляр). На блошином рынке маленькие за него дадут минимум восемьдесят марок.

Рихард протягивает руку, но Сильке прячет футляр за спину. Рихард замирает.

Сильке. А совсем недавно кто-то называл меня гадиной.

Рихард. Прости дурака.

Сильке (подходит к краю стола). На колени!

Рихард опускается на колени. Его голова оказывается вровень со столешней.

Сильке (высовывает из халата колено). Целуй!

Рихард тянется губами и целует колено. Сильке отдает ему футляр.

Рихард (шепотом). Милая, хочешь, я тебя покатаю на языке?

Сильке. О нет, дорогой. Всему свое время. Вечером, вечером устроим скачки с препятствиями... (Оглядывается.) Фу, опять у нас все в крошках. Ненавижу этот твой срач!

Рихард. Я все уберу. (Снимает стул с кровати, ставит к столу.)

Сильке берет у себя в прихожей метлу, начинает мести на столе. Рихард прячет футляр с вибратором в карман.

Сильке. Купи себе еды. А мне – йогуртов, нато[8 - Нато – забродившие соевые бобы (японск.)], протоплазмы и сока. И прошу – не покупай две торпеды. Во всяком случае – сегодня.

Рихард. Хорошо, родная. Я куплю одну. Клянусь!

(Поднимает вверх два пальца.)

Направляется к коридору, но вдруг останавливается, поворачивается к Сильке.

Сильке (метет). Что еще?

Рихард. Покажи мне.

Сильке. Сейчас?

Рихард. Сейчас.

Сильке с недовольным вздохом бросает метлу, идет в дом, поднимается на второй этаж к себе в спальню, подходит к ружейному шкафу, прикладывает ладонь к замку. Шкаф открывается. Внутри вместо ружей стоят восемь теллурических гвоздей. Сильке достает из шкафа гвоздь, сбрасывает с себя халат, приставляет гвоздь шляпкой к своей обнаженной груди, целится в Рихарда. По размеру гвоздь в ее руках как винтовка.

Сильке. Паф!

Рихард смотрит, затем поворачивается и уходит.

VI

Слава партизанского отряда имени героя Первой Уральской войны Мигуэля Элиазара гремит по всему Уралу. Созданный подпольным обкомом КПУ всего шесть месяцев тому назад, отряд сразу стал серьезным боевым соединением в борьбе против барабинских белогвардейских оккупантов. Костяк отряда составляют подлинны патриоты своей коварно поработанной Родины, профессиональные военные, прошедшие не только Вторую, но, как правило, и Первую войну. Они бились в осажденном Нижнем Тагиле, ходили в атаку под Карабашем, испытали всю полноту окопной войны под Магнитогорском. Родное Приуралье обильно полито кровью таких заслуженных бойцов отряда, как Федор Лоза, Виктор Кац, Волиша Моурэ, Гарри Квиллер. Возглавляет отряд коммунист, орденноносец капитан Алишер Исанбаев. Под его командованием партизаны совершили 213 боевых операций не только против барабинских оккупантов, но

также против режима бешеной собаки Кароп, против ваххабитских сепаратистов и даже против монгольских империалистов, дотянувших свои кровавые щупальца и до земли уральской.

Мы сидим с капитаном Исанбаевым в тесной землянке, вырытой только сегодня утром. Теперь ночь, отряд отдыхает после трехдневного перехода. Командир сдержан, немногословен. Суровое лицо его скупое освещено умной лампочкой. Испещренное шрамами, с диолоновой скулой, с пристальным красным биноклярным глазом, лицо капитана Исанбаева – это лицо уральского народа, восставшего против оккупантов, лицо освободительной войны, с быстротой лесного пожара охватывающей не только предгорья Южного Урала, но уже и Северный Урал. Прихлебывая любимый улун из выдавшей виды походной кружки, командир спокойно рассказывает про смелые рейды в тыл к белогвардейцам, про подрывы блокпостов и железных дорог, про недавний рукопашный бой с ваххабитами, про захваченный врасплох монгольский десант. Лаконичные ответы капитана я записываю дедовским способом – карандашом на бумаге. Умницы в отряде строжайше запрещены.

– Бойцы покрыли себя неувядаемой славой, – говорит капитан, вспоминая дерзкую сентябрьскую вылазку против кароповского блокпоста. – Впятером не только перерезали восьмерых кароповцев, но и взяли умную голову. Эта голова, пока жива была, сослужила нам хорошую службу: четверо суток по ее наводке ебашили сверху по каропкам.

Командир озорно подмигивает мне единственным глазом. Этот немногословный, опаленный войною человек прошел через многое. Его отряд живет своей суровой боевой жизнью, совершая ежедневные подвиги во имя будущей республики, во имя торжества социализма и справедливости.

Спрашиваю про снабжение, про отношения с мирным населением, про руководящую роль подпольного обкома. Командир обстоятельно отвечает, не жалуясь на перебои с боеприпасами и медикаментами, на стычки с местным кулаками, на подрыв на минах двух обкомовских связных. Капитан Исанбаев и его бойцы готовы к трудностям.

– Все преодолимо, если есть цель. Мы бьемся за СШУ, это знают все, – говорит он. – Местная беднота на нашей стороне, это главное. Крестьяне сыты по горло барабинским “экономическим чудом”, на своей шкуре испытывают все тяготы земельной реформы.

За Соединенные Штаты Урала бьется насмерть отряд капитана Исанбаева. Эти три буквы, СШУ, значат много не только для бойцов, но и для уральских крестьян, для рабочих-горняков, для всех честных тружеников Урала, истосковавшихся по справедливой жизни. Ради них совершаются подвиги, ради их грядущего счастья льется партизанская кровь. СШУ – это будущее свободного Урала...

Подробно расспрашиваю командира о партийном руководстве. С подпольным обкомом у отряда крепкая, нерушимая связь.

– Секретарь обкома Бо Цзофэй делает для нас все возможное, – рассказывает капитан. – Умный это человек, внимательный, по-партийному честный и принципиальный. С ним у нас не бывает никаких недомолвок, никакие “жабы у колодца” нам не мешают. Теллуровые гвозди поступают вовремя. А все обкомовские директивы у меня вот здесь.

Командир щелкает по своему биноклярному глазу.

Задаю командиру давно заготовленный “неудобный” вопрос:

– А что с кубинцами?

Лицо партизана суровеет, он отводит взгляд в сторону, туда, где на грубой бревенчатой стене светятся голограммы Че Гевары, Лю Шаоци и Элиазара.

– Мы готовы принять в отряд всех, кто хочет драться за свободу, – отвечает командир. – Но только не тех, кто запятнал себя двурушничеством в Первой войне. Я и мои бойцы не признаем амнистию кубинцев.

– Товарищ капитан, но ваша позиция расходится с июльской директивой обкома, – замечаю я.

– По этому вопросу – да, – сурово парирует Исанбаев. – Я и мои бойцы остаемся верными присяге. Когда мы победим, пусть съезд КПУ рассудит нас.

Разговор окончен. Командир должен хоть не- много выспаться после трудного дня. А легких дней в партизанском отряде № 19 не бывает...

Прощаюсь, выхожу из землянки. Вокруг – непроглядная лесная темень. Только часовые на соснах перекликаются в темноте птичьими голосами. На ощупь нахожу свою нору. Трудно будет заснуть после этих напряженных суток, кажущихся такими невероятно длинными, после полуночного разговора с командиром...

Идет по тропам Урала освободительная война своим трудным, но победоносным шагом.

Нет здесь покоя врагам трудового народа ни днем ни ночью. Везде достанет их партизанская пуля, ничто не спасет барабинских оккупантов и их кароповских прихвостней от справедливой кары.

Зреют гроздь гнева народного.

Шумит сурово уральский лес.

VII

– Россию царскую, граф, батенька вы мой, немецкими руками завалили англичане, а выпотрошили сталинские жидовские комиссары. Потроха они продали капиталистам за валюту, а нутро набили марксизмом-ленинизмом.

Князь подошел первым к убитому лосю, глянул, передал ружье с патронташем егерям и махнул перчаткой: конец охоте. Усатый красавец-трубач поднес рожок к губам, затрубил. Ободряюще-прощальные звуки разнеслись по осеннему лесу. Егерь вытянул из кожаных ножен тесак, ловко всадил сохатому в горло. Темная кровь животного, дымясь, хлынула на ковер из опавшей листвы. Гончие уже не лаивали, а скулили и повизгивали на сворах. Трое выжлятников повели их прочь.

– Князь, Россия завалилась сама. – Граф отдал свой карабин совсем юному егерю, стал доставать портсигар, но вместо него вытянул из кармана теллутовую обойму, чертыхнулся, убрал, нашарил портсигар, вынул, раскрыл, закурил маленькую сигару. – Нутро ее за девятнадцатый век так прогнать

изволило, что и пули не понадобилось. Рухнул колосс от одной немецкой дробины.

– Завалила немчура, жида-подпольщики и англичане. – Не слушая графа, князь стал оглядываться по сторонам. – Тришка! Ты где?

– Здесь мы, ваше сиятельство! – подбежал седой Трифон в своей смешной венгерке.

– Сооруди бивуак во-о-он там. – Князь указал бородкой на одинокий дуб.

– Слушаюсь!

Граф вытащил из кармана куртки небольшую плоскую фляжку с коньяком, отвинтил, протянул князю:

– В четырнадцатом году Россия не выдержала удара немецкой военной машины. Ну при чем здесь ваши жида?

Князь отхлебнул из фляжки:

– С полем... А при том, что вот вам, батенька, народная загадка из совдеповской эры: за столом сидят шесть комиссаров. Спрашивается: кто под столом? Ответ: двенадцать колен Израилевых. Видали списки комиссаров? Девяносто процентов – жида. Руководители ЧК, ОГПУ, НКВД – кто?

– Жида, – кивнул граф, отхлебывая из фляжки. – Ну и что? Да, взялись за грязную работу. Нервы были, стало быть, покрепче, чем у русских. И предрассудков поменьше.

– Грязна работа, сиречь душегубство!

– Да, душегубство... – Граф задумчиво глянул в высокое осеннее небо. – А как без него? Гекатомбы необходимы. Перенаселение. Всем хорошей жизни хочется.

– Большевики изнасиловали упавшую навзничь Россию индустриализацией. – Князь потянулся за фляжкой. – И она умерла. Сталинские троглодиты семьдесят

лет плясали свои буги-вуги на ее прекрасном трупце.

– Они хотя бы нищих накормили. Сколько их при царях побиралось по России-матушке? – усмехнулся граф.

– Вы все ерничаете... – махнул князь рукой. – Накормили! А сперва расстреляли.

– Нет, князь, сперва все-таки накормили.

Они вдруг замолчали, глядя, как два егеря принялись проворно свежевать лося. Запахло потрохом. Подбежал Тришка с шампурами.

– Только не печень! – распорядился князь.

– Сердечко, ваше сиятельство?

– И филейчика.

– Слушаюсь.

Над поляной пролетели утка и селезень.

Граф отхлебнул из фляжки, посмотрел на полуприкрывшийся глаз лося, задумчиво произнес:

– В каждом глазе – бег оленя, в каждом взоре – лет копыя...

– Что? – переспросил князь.

– Так, вспомнилось... Ежели говорить серьезно, у меня претензий больше не к немцам и жидам, а к русским. Нет на свете народа, более равнодушного к своей жизни. Ежели это национальная черта – такой народ сочувствия не заслуживает.

– Как говорил Сталин: другого народа у меня нет.

– Надо, надо было вовремя подзаселить Россию немчурой. Большевики не догадались. Екатерина начала это, да некому закончить было...

– Россия существовала для того...

– ...чтобы преподать миру великий урок. Читали. Преподала. Такой, что волосы встанут дыбом.

– Вечная ей память, – отхлебнул коньяку князь. – Зато сейчас все хорошо.

– С чем?

– С образом России. Да и вообще – хорошо! Во всяком случае, нашим государством я доволен.

– Ну... – Граф с улыбкой огляделся по сторонам. – Рязанское царство, конечно, поприличней Уральской Республики.

– Эва, с кем сравнить изволили! С “Дуркой”! Мы, граф досточтимый, после воцарения нашего Андрюшеньки будем поприличнее в плане экономики и культуры не только тверских-калужских, но и вашей Московии.

– Мою Московию, князь, нынче только мертвый не пинает. А раньше-то как к нам за ярлыками приползали...

– Ненавидел всегда! С детства! – взмахнул руками князь. – Уж не обессудьте. Когда Постсовдепия рухнула, я был подростком. Мало чего понимал. Но люто не-на-видел Москву! И дед мой ненавидел ее, когда ездил “фонды утрясать”! И прадед, когда с шабашниками тащился туда на заработки! Наследственная ненависть-с! Даже потом, когда Московия по миру пошла, когда голодала, когда проспекты распахивали под картошку, когда каннибализмом запахло. А когда коммуноцарствие возникло – еще больше возненавидел. Тоже мне, новый НЭП: отдать Подмоскovie китайцам! И стеною отгородиться! Умно-с! Не-на-вижу!

– Смотрите, как бы наши на ваших не напали.

– Батенька, у нас есть шесть прелестных водородных бомбочек! Такие красивые, расписаны умельцами, как матрешки. Если что – метнем москвитам такую матрешечку! В подарочек-с!

– Вольному воля, князь... однако есть хочется.

– Есть, вы сказали?

– Вы ослышались. Есть, есть...

– Конечно, непременно! Пойдемте на бивуак.

Князь взял графа под руку, повел к дубу. Массивная фигура графа нависала над маленьким, подвижным князем. Глуховатый на одно ухо князь говорил громче и быстрее обычного:

– Вы, граф, моложе меня вдвое, многого не помните. Задумайтесь, батенька, на каком языке мы с вами говорим?

– Мне кажется, на русском.

– Вот именно-с! На русском! А не на постсоветском суржике! Тридцать лет понадобилось, дабы вернуться к чистому ручью. Ordo ab chaos[9 - Ordo ab chaos – К порядку через хаос (лат.)]. Государство – это язык. Каков язык – таков и порядок. Кто впервые поднял вопрос сей? Мы, рязанцы. Кто первым провел реформу языка? Кто запретил суржик? Дурацкие иностранные слова? Все эти ребрендинги, холдинги, маркетинги? Кто подал пример всем? И вашей Московии в том числе? Мы!

– Папаша покойный рассказывал, как у них в школе ставили на горюх за слово “интернет”.

– Да, ставили на горюх, пороли! Зато нынче – каков результат? Живая, правильная русская речь, заслушаешься! Государственный порядок! У нас, во всяком случае... Не согласны?

– Насчет порядка... не знаю. Речь правильная, кто спорит. Вот носители ее...

- Вызывают у вас вопросы?
- Собственно, даже не сами они, а образ их. Слишком много морд.
- А это, граф, батенька вы мой, еще советское наследие.
- Да сколько уж можно на совок валить...
- Тотальный геноцид народа русского за шестьдесят лет не восполнишь. Большевики истребляли цвет нации, расчищая поле для жидовских репьев да быдляцкой лебеды. Вот она и дала потомство, лебеда-матушка! Ее с корнем трудненько выдернуть!
- М-да... мурло, мурло по всей земле, во все пределы...
- Что?
- Так, вспомнилось...
- А архитектура? А внимание к жилищу своему? Когда, в какие времена оно было у русского народа?
- Никогда. Народ жил в хлеву, а элита строила себе черт знает что.
- Не имея при этом понятия о том, что она, собственно, хочет – Версаль, Дворец Советов или...
- Эмпайр-стейт-билдинг.
- Спрашиваю вас, граф: а когда же это понятие впервые у нас возникло?
- Когда распались.
- Да-с, батенька! Когда распались! Вот тогда и обратили внимание на собственные жилища! На города! В моем городе нынче – ни одного случайного

дома! Городской архитектор – бог! Ему у нас все кланяются! Особые полномочия! Лицо города! Мо-е-го го-рода! Я в нем живу, я за него и отвечаю перед историей, перед мировой культурой, простите за пафос!

– Не прощу... – усмехнулся граф, отпивая из фляжки.

– Как у нас теперь строят? Вни-ма-тельно! Ответственно! Вкус! Наследие! Осторожность! Осмотрительность!

– Осмотрительность... – повторил граф, глянув в сторону темнеющего леса. – Теперь она – вечный спутник русского человека.

– Русью, батенька, на Среднерусской возвышенности запахло токмо после распада.

– Согласен. До этого были другие запахи...

– Святая правда! Располагайтесь, выпьем, а я вам случай один расскажу.

Они уселись на ковер, расстеленный под старым, уже потерявшим свою листву дубом. На ковре стоял походный столик князя с традиционной бивуачной закуской и перцовкой в круглой зеленой бутылке, оплетенной медной проволокой. Слугам на охоте быть не полагалось, князь сам наполнил серебряные стопки.

– С полем, граф! – поднял стопку князь своей чуть дрожащей тонкопалой рукой.

– С полем, князь. – Стопка исчезла в широкой длани графа.

Выпили, стали закусывать. Проворный Тришка тем временем, насадив на шампуры кусочки лосиного сердца и филея, стал обжаривать их на пламени костра.

– Когда развалилась постсоветская Россия и стали образовываться так называемые государства постпостсоветского пространства, наш первый правитель, Иван Владимирович, однажды пригласил нас, новых рязанских дворян, к себе. Обмен мнениями, банкет, гуслиры, как обычно. А потом, за

полночь, когда остался токмо избранный круг, он повел нас... куда бы вы думали?

- В девичью?

- Плосковато, голубчик... Он повел нас в бильярдную.

- Он же, по-моему, предпочитал всем играм городки?

- Святая правда! Так вот, подвел он нас к бильярдному столу, взял шар и говорит: сейчас, господа новые дворяне, я продемонстрирую вам наглядно феномен истории XXI века. Взял один шар и пустил его в лузу. Шар туда благополучно свалился. Берет он другой шар, спрашивает: сейчас я пущу его по тому же пути. Что будет с шаром? Мы хором отвечаем: упадет в лузу. Он пускает его, а сам нажимает кнопочку на пультике. Шар перед лузой взрывается, разваливается на куски. И куски слоновой кости, драгоценнейший вы мой, лежат перед нами на столе.

- Красиво.

- Красиво, граф! А Иван Владимирович спрашивает нас: что было бы, если бы этот шар не развалился на куски? Ответ: свалился в лузу. То есть исчез бы со стола? Да, Государь, исчез бы со стола. Правильно, дорогие мои верноподданные. Так вот, говорит он, этот стол - мировая история. А этот шар - Россия. Которая начиная с 1917 года неумолимо катилась в лузу. То есть к небытию мировой истории. И если бы она шесть лет назад не развалилась на части, то исчезла бы навсегда. Ее падение со стола - не геополитический распад, а внутренняя деградация и неумолимое вырождение населения в безликую, этически неменяемую биомассу, умеющую токмо подворовывать да пресмыкаться, забывшую свою историю, живущую токмо убогим настоящим, говорящую на деградирующем языке. Русский человек как этнос исчез бы навсегда...

- Растворившись в других этносах, - увесисто кивнул граф. - Полностью согласен. Но, князь, послушайте...

- Это вы послушайте! Постсоветские правители, чувствуя, так сказать, близкий кирдык, кинули всенародный клич: поищем национальную идею! Объявили

конкурс, собирали ученых, политологов, писателей – родите нам, дорогие, национальную идею! Чуть ли не с микроскопом шарили по идеологическим сусекам: где, где наша национальная идея?! Глупцы, они не понимали, что национальная идея – не клад за семью печатями, не формула, не вакцина, которую можно привить больному населению в одночасье! Национальная идея, ежели она есть, живет в каждом человеке государства, от дворника до банкира. А ежели ее нет, но ее пытаются отыскать – значит, такое государство уже обречено! Национальная идея! Когда же она проросла в каждом русском человеке? Когда постсоветская Россия развалилась на куски! Вот тогда каждый русский вспомнил, что он русский! Вот тогда мы вспомнили не только веру, историю, царя, дворян, князей да графьев, обычаи предков, но и культуру, но и язык! Правильный, благородный, великий наш русский язык!

В глазах князя блеснули слезы. Тришка поднес шампуры с дымящимся мясом.

– Насчет своевременного распада – это очевидно, тут и спорить нечего. – Граф взял шампур, понюхал дымящийся кусок лосиного сердца. – Постсоветская была оккупационной зоной, разумно управлять ею было невозможно... Но, князь, насчет национальной идеи... вот, скажи-ка мне, брат Трифон, какая у тебя национальная идея?

Тришка, выложивший шампуры на блюдо, с удивленной улыбкой уставился на графа, словно тот сказал что-то на птичьем языке.

– Какая у тебя в жизни главная идея? – спросил граф, отдельно выговаривая слова.

– Идея? – переспросил Трифон и глянул на князя.

Тот молчал, наполняя стопки.

– Наша идея, ваше сиятельство, барину своему служить, – произнес Тришка.

Своим тяжелым взглядом граф внимательно посмотрел на широкое, обветренное, улыбающееся лицо Тришки. Потом перевел взгляд на князя. Тот, закончив разливать водку, протянул стопку графу с таким выражением лица, словно ничего не расслышал. Граф медленно и молча принял своей дланью стопку с водкой.

Тришка, ничего не услышав от графа в ответ, побежал к костру и стал насаживать на шампуры новую порцию мяса.

Князь откусил от горячего куска, пожевал, проглотил:

– М-м-м... превосходно. Дымком-то, дымком-то! Молодец Триша! Профаны токмо жарят убоинку на углях. Настоящий охотник должен дружить с открытым пламенем... Ну те-с, граф, голубчик, за что выпьем?

– Выпьем? М-м-м... за что же... – Граф тяжело уставился на князя.

Взгляды их встретились.

“Господи, как же невыносимы эти москвиты, – подумал князь. – Как чураются они всего искреннего, честного, непосредственного. В головах у них один теллур...”

“Как замшело все здесь, на Рязанщине, – подумал граф. – Покрылись мозги старым мхом. Даже теллуrom не прошибить...”

Пауза затягивалась. Князь ждал.

– Выпьем, князь, за... – неопределенно начал граф.

Но тут во внутреннем кармане его замшевой, подбитой гагачьим пухом охотничьей куртки брегет зазвенел романсом из “Тангейзера”.

– За музыку, – произнес граф, внутренне радуясь подсказке старого отцовского брегета. – Ибо она выше политики.

– Прекрасно! – улыбнулся князь, светлея лицом.

Стопки их сошлись.

Романс Вольфрама фон Эшенбаха еле слышно плыл в бодрящем лесном воздухе.

К дымку костра примешивался запах жареного мяса.

Где-то неподалеку слышался нарастающий стрекот, и вскоре маленький серебристый беспилотник пролетел над голыми макушками деревьев и растаял в осеннем небе.

VIII

Ветер священной войны завывает над Европой.

Айя!

О древние камни Парижа и Базеля, Кельна и Будапешта, Вены и Дубровника. Страх и трепет да наполнит ваши гранитные сердца.

Айя!

О мостовые Лиона и Праги, Мюнхена и Антверпена, Женевы и Рима. Да коснутся вас истоптанные сандалии гордых воинов Аллаха.

Айя!

О старая Европа, колыбель лукавого человечества, оплот грешников и прелюбодеев, пристанище отступников и расхитителей, приют безбожников и содомитов. Гром джихада да сотрясет твои стены.

Айя!

О трусливые и лукавые мужи Европы, променявшие веру на рутину жизни, правду на ложь, а звезды небесные – на жалкие монеты. Да разбежитесь вы в страхе по улицам вашим, когда тень священного меча падет на вас.

Айя!

О красивые и слабые женщины Европы, стыдящиеся рожать, но не стыдящиеся грубой мужской работы. Да опрокинетесь вы навзничь, да возопите протяжно, когда горячее семя доблестных моджахедов лавой хлынет в ваши лона.

Айя!

О смуглолицые европейцы, называющие себя мусульманами, отступившие от старой веры в угоду соблазнам и грехам нового века, позволившие неверным искутить себя коварным теллуrom. Да вскрикнете вы, когда рука имама вырвет из ваших голов поганые гвозди, несущие вашим душам сомнения и иллюзии. И да осыплются эти гвозди с ваших свободных голов на мостовые Европы подобно сухим листьям.

Айя!

IX

Секретарь горкома Соловьева нетерпеливо поправила свою сложную прическу. Сидя за своим большим рабочим столом, она нервничала все заметнее, поигрывая пустым теллуrowым клином.

– Виктор Михайлович, – заговорила Соловьева, – вы понимаете, что люди не могут больше ждать? Им надо не только работать, но и отдыхать, растить детей, стирать белье, готовить еду!

– Я прекрасно понимаю, Софья Сергеевна! – Ким прижал свои холеные руки к груди, сверкнул его фамильный брильянтовый перстень. – Но невозможно перепрыгнуть через собственную голову, как говорили древние. Государевых фондов не будет до января! Это объективная реальность.

– Фонды у вас были в июле. – Малахов встал, заходил вдоль окон. – И какие фонды! Блоки, живород, крепления, фундаменты! Шестнадцать вагонов!

– Ну, Сергей Львович, опять сказка про белого бычка... – развел руками Ким и устало выдохнул. – Давайте я опять сяду писать докладную!

– А... ваша докладная... – теряя терпение, махнул рукой Малахов. – Вон, идите, доложите им!

Он кивнул на пуленепробиваемое окно, за которым на площади у памятника Ивану III пестрела толпа демонстрантов. Черные фигуры опоновцев ограждали ее.

– Нет, у меня в голове не укладывается до сих пор. – Соловьева откинулась в кресле, нервно разминая в левой руке свернутую валиком умницу, а правой играя теллутовым клином. – Как это – отозвать по скользящему договору? Наталья Сергеевна! Вы наш юрист уже третий год! И вы проморгали отзыв договора с нижегородцами!

Усталая после этих бесконечных трех часов Левит затушила тонкую сигарету:

– Виновата я одна.

– Ни в чем она не виновата! – стоя у окна, почти выкрикнул Малахов, резко ткнув большим пальцем через плечо в сторону Кима. – Вот кто виноват! Во всем!

– Конечно я, конечно я-я-я! – почти пропел Ким, складывая крест-накрест руки на груди и придавая своему широкому загорелому лицу плаксивое выражение. – И договор с нижегородцами заключал я, и в Тулу ездил я, и пожар запалил я, и квартальный план без угла утверждал я!

– Квартальный план утверждался здесь! – Соловьева сильно шлепнула ладонью по столу, отчего мормолоновые жуки в ее прическе зашевелились. – Вы тоже поднимали руку! Где был ваш дар, ваше яс-но-ви-дение?!

– Он все ясновидел, – угрюмо хохотнул грузный Гобзев. – Все, что ему надо для перхушковской стройки, он проясновидел прекрасно. Теперь там небоскреб. Никаких демонстраций, никакого ОПОНа. Результат, так сказать, ясновидения!

– Товарищи, мне подать в отставку? – зло-удивленно спросил Ким. – Или продолжать строить бараки для рабочих? Что мне делать, я не по-ни-маю!

– Тебе надо честно рассказать, как ты позволил тульским спиздить нижегородский состав из шестнадцати вагонов, – произнес Гобзев.

– Софья Сергеевна... – Ким встал, застегивая свой серебристо-оливковый пиджак.

– Сядь! – приказала Соловьева.

Ким остался напряженно стоять. Она сощурила на него свои и без того узкие, подведенные иранской охрой глаза:

– Скажи нам, товарищ Ким, кто ты?

– Я православный коммунист, – серьезно ответил Ким и перевел взгляд поверх головы Соловьевой на стену, где висел живой портрет непрерывно пишущего Ленина, а в правом углу темнел массивный киот и теплилась лампадка.

– Я не верю, – произнесла Соловьева.

Возникла напряженная пауза.

– Я не верю, что ты в июле не знал про брейк-инициативу тульской городской управы.

С непроницаемым лицом Ким молча размашисто перекрестился на киот и громко, на весь кабинет произнес:

– Видит Бог, не знал!

По сидящим за столом прошло усталое движение, кто-то облегченно выдохнул, а кто и негодуяюще вздохнул. Соловьева встала, подошла к Киму совсем близко, в упор глядя ему в лицо. Он не отвел взгляда.

– Виктор Михайлович, через полгода съезд партии, – произнесла Соловьева.

Ким молчал.

Соловьева молча расстегнула жакет, обнажила правое плечо, повернула к Киму. На плече алела живая татуировка: сердце в окружении двух скрещенных костей. Сердце ритмично содрогалось.

Ким уставился на сердце.

– Когда Государь объявил Третий партийный призыв, мне было двадцать лет. Муж воевал, ребенку – три года. Работала номинатором. Денег – двадцать пять рублей. Даже на еду не хватало. Копала огород в Ясенево, сажала картошку. На ночь брала подработку, месила для китайцев умное тесто. Утром встану – глаза после ночного замеса ничего не видят. Хлопну бифомольчика, ребенка накормлю, отведу в садик, потом на службу. А после службы – в райком. И до десяти. Зайду в садик, а Гарик уже спит. Возьму на руки и несусь домой. И так каждый день, выходных в военное время не полагалось. А потом в один прекрасный день получаю искру: ваш муж Николай Соловьев героически погиб при освобождении города-героя Подольска от ваххабитских захватчиков. Вот тогда, Виктор Михайлович, я сделала себе эту памятку. И перешла из технологического отдела в отдел соцстроительства. Потому что дала себе клятву: сделать нашу послевоенную жизнь счастливой. Чтобы мой сын вырос счастливым человеком. Чтобы его ровесники тоже стали счастливыми. Чтобы у всех трудящихся подмосковичей были дешевые квартиры. Чтобы наше молодое московское государство стало сильным. Чтобы больше никогда никто не дерзнул напасть на него. Чтобы никто и никогда не получал похоронки.

Она замолчала, отошла от Кима, застегнулась, села за стол.

– Что я должен делать? – глухо спросил Ким.

Соловьева не спеша закурила, постучала красным ногтем по столу:

– Вот сюда. Завтра. Девять тысяч. Золотом. Первой чеканки.

– Я не соберу до завтра, – быстро ответил Ким.

– Послезавтра.

Он неуютно повел плечом:

- Тоже нереально, но...

- Но ты сделаешь это, - перебила его Соловьева.

Он замолчал, отводя от нее злой взгляд.

- И никаких рекламаций, никаких затирок. - Она откинулась в кресле.

Сцепив над пахом свои руки, Ким зло закивал головой.

- Девять тысяч, - повторила Соловьева.

- Я могу идти? - спросил Ким.

- Иди, Виктор Михалыч. - Соловьева холодно и устало посмотрела на него.

Он резко повернулся и вышел, хлопнув дверью.

- Гнать эту гниду надо из партии, - угрюмо заговорил долго молчавший Муртазов.

- Гнать к чертовой матери! - потрянул массивной головой Гобзев.

- На первом же собрании! - хлопнул умницей по столу Малахов.

Умница пискнула и посветлела.

- Не надо, - серьезно произнесла Соловьева, глядя в окно на толпу демонстрантов. - Пока не надо.

По-деловому загасив окурок, она встала, одернула жакет, тронула прическу, успокаивая все еще шевелящихся мормолоновых жуков, и произнесла громко, на весь кабинет:

- Ну что, товарищи, пойдёмте говорить с народом.

Х

Дверь осторожно приотворилась.

- Есть, есть, - едва шевеля губами, произнес Богданка.

Дверь захлопнулась. Богданка не услышал, а скорее почувствовал, с каким трудом руки Владимира справляются с дверной цепочкой.

“Да есть же, все в порядке!” - хотелось выкрикнуть ему в эту проклятую старую, убогую дверь, обитую черт знает каким дерьмовым материалом еще с доимперских, а может, и с постсоветских или даже с советских времен.

Но он сдержался из последних сил.

Владимир распахнул дверь так, словно пришел его старший брат, безвозвратно пропавший без вести на Второй войне. Богданка почти впрыгнул в теплую полутьму прихожей, и едва Владимир захлопнул и запер за ним дверь, не раздеваясь, бессильно сполз по стене на пол.

- Что? - непонимающе склонился над ним Владимир.

- Н-ничего... - прошептал Богданка, улыбаясь сам себе. - Просто устал.

- Бежал?

- Нет, - честно признался Богданка, вынул из кармана спичечную коробку, протянул Владимиру.

Тот быстро взял и ушел из прихожей.

Посидев, Богданка скинул с себя на пол куртку, размотал и бросил шарф, стянул заляпанные подмосковной грязью сапоги, встал, зашел в ванную, открыл кран и жадно напился тепловатой невкусной воды. Сдерживая себя, глянул в зеркало.

На него ответно глянуло серое осунувшееся лицо с темными кругами вокруг глаз.

– Спокойный вечер, – произнесли обветренные губы лица и попытались улыбнуться.

Богданка оттолкнулся от пожелтевшей раковины, пошел в комнаты.

В гостиной на ковре кругом сидели молча двенадцать человек. В центре на сильно потрепанном томе “Троецарствия” лежала открытая спичечная коробка. В коробке серебристо поблескивал теллуrowый клин.

Богданка сел в круг, бесцеремонно потеснив подмосквича Валеного и замоскворецкую вторую подругу Владимира Регину. Они не обратили внимания на грубость Богданки. Взгляды их не отрывались от кусочка теллура.

– Ну что, сбылась мечта идиотов? – попробовал нервно пошутить Валеный.

Все промолчали.

Владимир нетерпеливо выдохнул:

– Ну давайте тогда... чего глазеть-то, честное слово...

– Господа, надобно бросить жребий так, чтобы все были удовлетворены и не было даже тени обиды, даже малейшего намека на какую-то нечестность, на передергивание, на что-то нечистое, мелкое, гнилое, на чью-то обделенность, – с жаром заговорил щуплый, subtilный Снежок.

– Никаких обид, никакого жульничества... – замотал бульдожьей головой вечно сердитый Маврин-Паврин.

– Послушайте, какие же могут быть обиды? – забормотала полноватая, плохо и неряшливо одетая Ли Гуарен.

– Меня обидеть легко... – еле слышно пробормотал сутулый Клоп.

– Не о том говорим! Решительно не о том! – ударил себя по колену Бондик-Дэи.

– Нет уж, давайте оговорим, давайте, давайте, давайте, – зловеще закивал Самой.

– Послушайте! Черт возьми, мы собрались не для жульничества! – повысил голос Владимир, и все почувствовали, что он на пределе. – Вы у меня в доме, господа, какое, на хуй, жульничество?!

– Владимир Яковлевич, речь идет не о жульничестве, оно, безусловно, невозможно среди нас, людей вменяемых, особенных, умных, ответственных, но я хотел бы просто предостеречь от... – затараторил Снежок, но его перебили.

– Жребий! Жребий! Жребий!! – яростно, с остервенением захлопал в ладоши Владимир.

На него покосились.

Сидящая рядом пухлявая Авдотья обняла, прижалась:

– Володенька... все хорошо, все славно...

Он стал отталкивать ее, но Амман протянул свою большую руку, взял Владимира за плечо:

– Владимир Яковлевич, прошу вас. Прошу вас.

Его глубокий властный голос подействовал на Владимира. Он смолк и лишь вяло шевелился в объятиях Авдотьи.

– Господа, – продолжил Амман, обводя сидящих взглядом своих умных, глубоко посаженных глаз, – мы собрались здесь сегодня, чтобы пробировать новое. Это новое перед нами.

Все, словно по команде, уставились на коробку.

– Оно стоило нам больших денег. Это самый дорогой, самый редкий и самый наказуемый продукт в мире. Никто из нас не пробировал его раньше. Посему давайте не омрачать день сей. Я предлагаю кинуть жребий.

– На спичках! Коли уж есть спичечный коробок... – горько усмехнулся всегда печальный Родя Шварц.

– Тринадцать бумажек, одна счастливая. – Амман не обратил внимания на реплику Роди.

– У меня дома нет бумаги, – пробормотал Владимир.

Амман приподнял коробочку, выдрал из “Троецарствия” страницу, поставил коробочку на место:

– Ножницы.

Ему подали ножницы. Он стал аккуратно разрезать пожелтевшую страницу на одинаковые полосы.

– Принеси пакет для мусора, – приказал Владимир Авдотье.

Она неловко вскочила, тряся телесами, выбежала на кухню, повозилась, вернулась с черным пластиковым пакетом.

– Владимир Яковлевич, надеюсь, стилос имеется у вас? – спросила Регина.

– Есть где-то, – пробормотал Владимир и добавил со злостью: – Но предупреждаю: писать им я не обучен.

Он встал, долго рылся в ящиках, нашел изъеденный временем карандаш, кинул Регине. Регина поймала, понюхала и лизнула карандаш с нервной улыбкой:

– Знаете, господа, я тоже... не очень-то умею...

– Я напишу. – Амман забрал у нее карандаш, зажал его в кулак и крупно, коряво написал на одной из полосок: TELLUR. Бросил карандаш и стал аккуратно складывать полоски пополам и засовывать их в черный пакет. Большие сильные руки его не суетились даже теперь. Когда последняя полоска исчезла в пакете, Амман закрыл его, долго тряс, потом слегка приоткрыл:

– По кругу, против часовой. Хозяин дома – первый.

С трудом подавляя волнение, Владимир сунул руку в черный зев пакета, пошарил, вытащил, глянул. Скомкал и яростно швырнул вверх:

– Блядский род!

Амман невозмутимо поднес пакет Авдотье. Та вытянула пустую бумажку и облегченно улыбнулась, прижалась к Владимиру.

– Пошла ты... – оттолкнул тот ее, вскочил, пошел на кухню пить воду.

Пакет двигался по кругу. Но не дошел и до середины: сутулый Клоп вытащил счастливый билет.

– Теллур, – произнес он с болезненной улыбкой и показал всем полоску.

– Теллур, – согласился Амман и с явным неудовольствием выдернул бумажку из тонких пальцев Клопа. – Клоп пробирает, господа. Ну что ж... зовите мастера.

Никто не двинулся с места. Выигрыш Клопа одних возбудил, других ввел в оцепенение.

Снежок бросился к Клопу:

– Клоп, дорогой вы мой, Клоп, вы сегодня на вершине, вы чжуанши[10 - Чжуанши – богатырь (кит.)], демиург, Архитектон, вы будете стоять, понимаете ли, подпирая голову облака, а мир ляжет у ваших ног, мир будет как ящерица, как земноводное, как собака лизать вам руки и ноги...

Клоп, сутулясь еще сильнее, беззвучно смеялся, раскачиваясь и прикладывая мохлястый кулак к неширокому, угреватому лбу.

– Клоп, сука, респект плюс завидково, – состаромодничал Валенький. – Эт самое, господа, а я был совершенно уверен, что вытянут Клоп или Родька.

– Не смейся, друг. – Родя Шварц печально похлопал Валенького по бритой голове с мормолоновой пластиной.

– Клоп так Клоп, чего там... – угрюмо полез за маской Маврин-Паврин.

– На хуя было разводиться на чертову дюжину, я до сих пор решительно не понимаю! – зло чесал исколотые руки Самой.

– У тебя есть шестьдесят? – кривляясь, как мягкий клоун, спросила его Ли Гуарен. – Или хотя бы двадцать?

– Нет. И четырех рублей шестидесяти двух копеек тоже нет.

– Уже! – подсказала она.

Все рассмеялись. Этот взрыв смеха как-то успокоил. Кое-кто принял свое полегкому, Маврин-Паврин, надышавшись, подобрел и кинул Регине теплую таблетку. Регина состроила ему.

– Господа, порадуемся за Клопа, – произнес Амман. – Где мастер?

Вернувшийся из кухни Владимир достал ключ, отпер спальню. Из двери вышел низкорослый человек с широким узкоглазым лицом и сумкой на плече.

– Алиша, – представился он с полупоклоном.

Амман молча указал ему на Клопа. Алиша деловито поставил сумку на стол, вынул из нее машинку, подошел к Клопу, опустился на колени и стал стричь ему голову наголо.

– Вот почему я так давно не посещал цирюльню, – произнес Клоп, перебирая свои худые пальцы.

– Держите голову повыше, – попросил Алиша.

– И все-таки я не понимаю, почему клин невозможно использовать дважды? – заговорила довольная Авдотья, обнимая Владимира.

Владимир, презрительно фыркнув, потюкал Авдотью пальцем по лбу.

– Теллур от взаимодействия с жирными кислотами теряет чистоту, становясь солью, – ответил, работая, Алиша. – Процесс столь активен, что солевой слой довольно широк. И не только в этом дело. Есть необъяснимые вещи. Например, кристаллическая решетка меняет свою полярность. В общем, почистить и забить гвоздик второй раз ни у кого не получалось.

– И не получится, – вздохнул Родя.

– Летальный исход, – добавил раскрасневшийся Маврин-Паврин.

– Диафрагма нейрона и атомы теллура взаимодействуют стремительно, – продолжал Алиша. – Но – если гвоздь забит в нужное место. Теллур окисляется, диафрагма теряет жирные кислоты.

– Да, да, да! – горячо подхватил Снежок. – Это потрясающий, невероятный процесс, друзья мои, липидные диафрагмы нейронов буквально слизывают атомы теллура с металла своими жирными кислотами, как языками, слизывают, слизывают, окисляют их, при этом сами стремительно размягчаются, начинается процесс в нейронах, в мозгу, и человеке попадает в желаемое пространство! И это прекрасно, господа!

– Ничего прекрасного, – сворачивал себе папироску Валеный. – Шесть червонцев за гвоздь... мир сходит с ума.

– Это не только за гвоздь, – вставила Регина.

- Надобно уметь его вставлять? – глупо и вопросительно-понимающе закивала Авдотья.
- Некоторые и сами себе вколачивают, – буркнул Валеньй. – Без плотника. И ничего.
- Без плотника можно так забить, что со святыми упокой, – усмехнулся Родя.
- Криво пойдет – и пиздец, – сплюнул на ковер Самой. – Гвоздодер не поможет.
- Так это и прекрасно, родные мои! – затараторил Снежок. – Сей продукт как японская рыба фугу – опасен и прекрасен, двенадцать процентов летальщины – это вам не баран чихал, это знак божественного, а как иначе? Божество возносит и карает, воскресаает и стирает в пыль придорожную! Узки врата в рай вводяща и токмо избранные туда проникоша!
- Любезный, вы горноалтаец? – спросил Алишу Амман.
- Я якут, – спокойно ответил тот, заканчивая стрижку.
- А где же вы... – начал было Бондик-Деи.
- Там, – опередил ответом Алиша. – Жил и обучался.
- И который раз плотничаете? – зло прищурился на Алишу Самой.
- Сто пятьдесят четвертый, – ответил Алиша и стал протирать голову Клопа спиртом.
- Еб твою... – завистливо выругался Владимир.
- Вот, Володенька, как Москва-матушка на теллур подсела! – захихикала, тиская его, Авдотья.
- Это вам не кубики-шарики... – закурил Валеньй. – Шестьдесят за дозу... тридцать кубиков приобрести можно, двадцать шаров, восемь пирамид. Полгода

непрерывного полета.

- Куб – прекрасный продукт, – возразила Ли Гуарен. – И я его ни на какой клин не променяю.

- А вам, сударыня, никто и не предлагает! – съязвил Самой.

Многие рассмеялись.

- Поеду-ка я домой, – встала, делано потягиваясь, Ли Гуарен.

- Да, да. Клин клином вышибать... – не унимался Самой.

- Мы тоже пойдем, счастливо оставаться, – поднялся Валений, беря за руку Бондика-Деи.

- Брат Клоп, хорошего тебе. – Бондик-Деи метнул в Клопа.

- И я, и я, господа, поеду, хотя, признаться честно, сгораю от жутчайшего, испепеляющего любопытства, – вскочил Снежок. – Все нутро мое, вся бессмертная сущность содрогается от желания влезть в череп Клопа, испытать сие божественное преображение, равного которому не знает ни одно сияние, я уж не говорю о полетах и приходах, да, да, влезть, а ежели и не влезать, то хотя бы после всего расспросить досточтимого Клопа о пережитом, насладиться его радостью причастия небесному, раствориться хоть на миг в его сверхчувственной исповеди, а растворившись – сгореть от черной зависти и тут же подобно Фениксу восстать из черного пепла зависти в белых одеждах радости и веселья!

- Сеанс может длиться до пяти дней, – предупредил Алиша, натягивая резиновые перчатки.

- Знаю, досточтимый, знаю, драгоценный Алиша! – подхватил Снежок. – Именно это знание и заставляет меня покинуть сие место силы, ибо не выдержит мое сердце испытателя этих пяти! Лопнет от зависти подобно палестинской смокке! Так что прощайте, дорогие мои! Прощайте, Владимир Яковлевич!

Он низко поклонился и вышел.

Молча ушли Маврин-Паврин и Самой. С печальной улыбкой покинул квартиру Родя. На ковре остались сидеть Богданка, Владимир с Авдотьей, Амман и Регина.

- Нужна кровать, - выпрямился Алиша.

- В спальне, - с усталым равнодушием кивнул Владимир.

Клоп, как лунатик, побрел в спальню. Алиша, Регина и Амман двинулись следом. Богданка, Владимир и Авдотья остались сидеть.

- Пошли посмотрим, Володенька. - Авдотья гладила впалую щеку Владимира.

- Не хочу, - буркнул он.

- А я хочу, - встала Регина и прошла в спальню.

Богданка ушел за ней. Посидев немного, Владимир встал и вошел в спальню. Клоп уже лежал на кровати на правом боку. Глаза его были полуприкрыты. Алиша, растянув умницу, налепил ее на гладкую голову Клопа. На умнице возникло изображение мозга Клопа с плывущей картой. Алиша простер руки над головой Клопа и замер на долгие минуты. Когда они истекли, Алиша быстро стянул умницу с черепа Клопа и отметил зеленой точкой место на черепе. Затем он взял из спичечной коробки клин, протер его спиртом, приставил к точке, вынул из сумки молоток и быстрым сильным ударом вогнал клин в голову Клопа.

XI

О, Совершенное Государство!

Видимым и невидимым солнцем сияешь ты над нами, согревая и опалая. Лучи твои пронизывают нас. Они мощны и вездесущи. От них не спрятаться никому - ни правым, ни виноватым.

Да и нужно ли?

Только лукавые избегают сияния твоего, прячась по темным углам своего самолюбия. Они не могут любить тебя, ибо способны любить только себя и себе подобных. Они боятся тебе отдаться: а вдруг ты навсегда лишишь их самолюбия? Вдруг разрушишь пыльные мирки их лукавства? Зубы их сжаты от жадности и эгоизма. Жизнь для них – скрежет зубовой. Самолюбие их престол. Зависть и страх – их вечные спутники. Лица их погружены в себя. Они сложны и полны страхов. Они непрозрачны. Сложным скарбом жилищ своих заслоняются они от твоего света. Свет твой жжет их. Мысли их – тени вечных сомнений.

Увы вам, сложные и непрозрачные.

Горите же, приговоренные и обреченные. Дымитесь, темные мысли старых сомнений человечества! Свет Совершенного Государства да испепелит вас! Плачьте и кричите, лукавые и самолюбивые, корчитесь от ожогов, прячьтесь в пыльных жилищах своих. Вы обречены на испепеление. Вы – прошлое.

Мы – настоящее и будущее.

Только мы – простые и прозрачные – способны любить Совершенное Государство. Только для нас, прозрачных, сияет его солнце. Жизнь наша – радость, ибо тела наши пропускают лучи света государственного.

Мы не препятствуем лучам твоим, Совершенное Государство! Мы поглощаем их с жадной радостью. Ты – Великая Надежда. Ты – Великий Порядок. Ты – счастье нашей жизни. В каждом атоме тел наших поет радость сопричастности Великому Порядку. Лица наши радостны и открыты. Мы веруем в Совершенство Государства. И оно верит нам, опираясь на нашу веру.

Высшее счастье человека – жизнь ради Совершенного Государства. Великое здание его состоит из нас. Мы – сияющие кирпичики его величия. Мы – соты, наполненные медом государственности. Мы – опора Государства. В каждом из нас поет энергия его мощи. В каждом живет идея Великого Совершенства. Каждый из нас готов на жертву во имя Государства. Плоть наша – основа его здания. Любовь наша – колонны его. В сияющую высь устремлено великое здание. Вершина его – из чистейшего теллура. Сияет она и слепит.

О, как величественно и совершенно это строение! Нет подобного ему. Оно создано и построено для нашего счастья. А наше счастье – в величии нашего Государства.

Его совершенство – наша радость.

Его мощь – наша сила.

Его богатство – наш покой.

Его желания – наш труд.

Его безопасность – наша забота.

Слава тебе, Совершенное Государство!

Слава в веках!

XII

Застава фабричная у нас. Сразу на Сходне, где монорельс кончается, там и застава наша. Фабрика через три остановки, хорошая, большая. Там делают живороды разные: и клей, и войлок, и резину, и пластик, и прокладки разных калибров, и даже игрушки живородные. На фабрике полторы тыщи рыл работают. Приезжих ровно 500 рыл, как по лимиту Государеву положено, все китайцы завторостенные. Они за стеной в своих общагах проживают, приезжают на работу токмо. Работают китайцы, и наши работают с заставы. На заставе живут замоскворецкие да застенные. Лимит 1:3. Нас, замоскворецких, в три раза меньше будет. Застенных поболее, в три раза. На заставе двенадцать домов. Дома хорошие, капитальные. Фатеры в них не шибко большие, но теплые, уютные. И вот в фатере номер двадцать семь, что в третьем доме, живет-проживает со своим семейством подлец Николай Абрамович Аникеев. Он на фабрику год назад к нам пришел, оформился. Сам-то он из ярославских, приезжай. Когда приехал, он бессемейным оформился, чтоб токмо угол снять, а

за фатеру не плотить пока. Так и говорил всем: холост, холост. И мне так сказал, когда на танцах пригласил. Танцевала с ним, понравился. Кудрявый он, широк в плечах, бойкий, танцевать умеет, да и плясать мастак. Как перепляс заиграют, он сразу вперед павлином идет, подковки на сапогах звенят, сам чубом тряхнет, крикнет: гляди, Подмосква, как ярославские хреновья из-под земли огонь высекают! Познакомились, задружились, стали в цеху разговоры разговаривать. Он на войлоке работал, а я на игрушках, это рядом, всего через резиновый пройти. Как на перекур пойдет, сразу мне искру: пошли покурим, Маруся. Не то чтоб влюбилась сразу, а просто интересный парень был он, заметнай. В цеху-то у нас одни девки да бабы, о чем с ними говорить-то, и так живем вместе. А тут он мне свою жизнь стал рассказывать, как в армию призвали, как воевал за Уралом, как ранило разрывной пулей, как в гошпитале лежал с ногою раздробленной, уже гангрена началась, бредил, ногу отрезали, хотели выписать, а он уперся, вены резал, мол, не уйду одноногим, и все, а ног новых в гошпитале, как всегда, не было. Доктор подошел к нему, шепнул: купишь мне гвоздик теллуровый – будет тебе нога. Написал родителям, те двух телят забили, радио продали, заняли у соседей, прислали денег, купил гвоздь, доктор пришел, выписали – и в строй опять, и опять он за Урал попал и как следует опять воевал, получил медаль, а потом дезертировал со всеми, когда Мишутку Кровавого скинули. Мастак Николай Абрамыч на разные истории, так расскажет, будто прямо перед глазами все стоит. И про родных своих рассказывал, что папаша у него иудей крещеный, зело верующий, обошел все святые места, был на Афоне даже и все молился за него, и что молитва папашина его спасала дважды, один раз когда шли в атаку и пуля трижды в автомат била, а второй – когда с двумя зауральцами сцепился в окопе, один и поскользнулся, он их обоих и зарезал. И про брата своего рассказывал, что тот женился на китаянке и уехал в Красноярск жить, что там корни пустил, укрепился, вместе с женой они сяошитан содержат, два самохода купили, трое детей уже и ждут четвертого, что в гости на Рождество поедет к ним. Так вот мы с ним и разговаривали разговоры. А потом пригласил меня в харчевню нашу. Угощал вином, кормил и мясным и сладким. А как провожать пошел, так в соснах схватил и стал зацеловывать. Я противиться не стала, так как нравился он мне. Зацеловал, отпустил. А на следующий день подарил мне колечко с бирюзой. Потом в кино с ним ходили, он и в кино меня натаскивал, миловал. А на следующий день, когда девки наши уехали на рынок, отдалась я ему. И стали мы с Николаем с тех пор любовниками. Любились в разных местах, где придется. На Успение ездили с ним на ярмарку, на Воробьевы горы, катал меня на каруселях, на звездолете слетали мы с ним на Альдебаран, гуляли по лугам голубым, пивом поил баварским, кормил сладостями, подарил два платочка живых. И влюбилась я в него до беспамятства. Стал он не просто любовником, а другом сердешным.

Ждала, что предложение мне сделает, а он все отмалчивался, говорил – не время еще, надобно, дескать, укорениться, денег поднакопить. Я уж и мамаше светила про него, каждый день с нею говорили, как и что. Она меня успокаивала все, что, мол, парень на новом месте, не огляделся еще, не уверен, мол, не тереби его попусту. Шло времечко, осень миновала. У нас в цеху трое девок замуж повыходили. И тут мне как снег на голову – жена Николая приехала. Да и не одна, а с дочкой шестилетней. Вот оно как вышло. Сразу они на фатеру семейную переехали. И как токмо я это услышала – словно в голове у меня молонья вспыхнула да и осталась сверкать. Не смогла ни есть, ни спать после. Словно и не вижу никого от этой молоньи. Одно на уме – пойти к нему и все решить. Стала весточки запускать: Коля, дорогой, хочу тебя видеть. А он их гасит все, молчит, как в колодец. Дождалась перекура – нет его. Как работа началась – в цех сама было пошла к нему, мастер отогнал – мешаешь работать. В столовой подошла к нему, он шти наворачивает. Здравствуй, говорю, Николай Абрамович. Смотрит на меня, словно увидел впервые. Здравствуй, говорит, Маруся. Пошто же ты меня обманул, спрашиваю. “А нипошто”, – отвернулся и продолжает шти свои наворачивать. Тут на меня молонья опять нашла – схватила я тарелку с биточками да ему на голову. И пошла прочь из столовой. А потом в цех наш игрушек вошла, взяла с конвейера коробку для детишек “Дедушкина грибница”, там крошечные грибки из пластика, их выращивать нужно, схватила горсть, проглотила, пузырек с водою живородной открыла да и выпила. Совсем вода живая безвкусная. Пошла на улицу к часовне нашей, перекрестилась, поклонилась: прости мне, Господи, грех мой. И тут у меня как попер пластик в животе, я и сознание потеряла. Очнулася в больнице. Лежу на столе, а доктор мне показывает подосиновик с голову человечью, весь в кровище моей перепачканный, и такой же боровик: ну что, дура, вырастила ты себе в животе дедушкину грибницу? Приглашай на грибной супец! И говорит: лечение за счет страховки фабричной, а за новый желудок удержат у тебя из зарплаты сорок шесть целковых. Через неделю на работу выйдешь. Я зареветь хотела, да сил не осталось. Говорю только: зачем вы меня, доктор, оживили?

XIII

Голая Доротея Шарлоттенбургская, тридцатисемилетняя вдовствующая королева своего беспокойного королевства, урожденная принцесса Шлезвиг-Гольштейнская, герцогиня Груневальдская, ландграфиня Фельдафингская и Дармштадская, княгиня Млетская, гонится за мною по залитой луною дворцовой

анфиладе.

Выкатившись из королевской спальни, я рассекаю ночной воздух, пахнувший паркетной мастикой, каминами, коноплей и гнилой мебелью. Мелькают: туалетная комната, кабинет аудиенций, зеленый кабинет с низенькими кушетками, на лимонном шелке которых мы так любим играть в *tepel-tapel*[11 - *TepeI-tapeI* – подвижная игра крепостных удов, напоминающая чехарду.]... – *Bleib' stehen, du, Schei?kugel!*[12 - *Bleib' stehen, du, Schei?kugel!* – Стой, говенный шарик! (нем.)]

Уже и *Schei?kugel*... Полчаса назад был *meine devitschja Igruschetchka*. Бац! Она бьет сачком с размаху. Мимо! Улепетываю зигзагообразно. Сачок шлепает позади, как бризантная бомба. Тяжела длань у королевы. Шлеп! Шлеп! Шлеп! Это уже ковровое бомбометание. Требуются активные защитные меры. Вираз влево, ваза, оттоманка, колонна, клавесин. Толстые ступни тяжко, слон, слон, шлепают, она жарко, лев, лев, дышит. Брень! Ваза. Покатилась, не разбилась. Бум! Крышка клавесина, облитая луной: звон, звон, трах, трах, страх, страх. Бах? Бах? Гендель!!

Наддаю из последнего. И ведь есть еще силы после этой безумной ночи! Чудо, чудо.

Бац, бац!

Дверной косяк.

Огибаю, пыхтя.

Вылетаю

в Овальный

зал.

Простор. Окно. Луна. Отталкиваюсь, качусь привычно по шахматному мрамору. *Mein Got*, сколько живых партий мы на нем разыграли за эти два года! И я неизменно стоял черным конем В8. Бзделоватый конек, как говаривает сволочь

Дылда-2, когда я не соглашаюсь на контратаку Маршалла в испанке...

А сзади слонопотамит по мрамору королева:

- Halt! Halt, Mistst?ckchen![13 - Halt! Halt, Mistst?ckchen! - Стоять! Стоять, говнюшка! (нем.)]

Скольжу. Проскальзываю в комнату гобеленов. Завернуться бы в один из них, подальше от этой фурии, лечь и заснуть глубоким сном. Хуй на рыло, кривобокий русский...

И, как и всех кривобоких, неизменно заносит меня на виражах. Ёб-с! Это уже я - головой в позолоченную ножку стола. Искры, искорки, искринки. Ножи, ножи с облупившейся позолотой. Прекрасные ножи. Остались от вас токмо рожки...

Виразирую между ножек, стоная.

- Nun, komm' schon, Duratschjok![14 - Nun, komm' schon, Duratschjok! - Ну давай же, дурачок! (нем.)]

Королева топает ножищею. Дрожат вазы в ужасе. Слышу, как сок ее каплями падает на паркет. Вот уж правда - Vagina Avida[15 - Vagina avida - ненасытная вагина (лат.)].

- Ach, du kleine Sau![16 - Ach, du kleine Sau! - Ах ты, свиненок! (нем.)]

Королева в ярости.

Улепетывая в Красный кабинет, спиной слышу, как она перехватывает свой сачок за марлевый наконечник и начинает тяжело разбегаться, как для прыжка с шестом.

- Нааааааalt!!

Грудной голос Доротеи разносится по ночному дворцу. Бас, бас. Рев, рев. Эхом гудят вазы китайские. Иерихон вагинальный. И тут же вдали, из покинутой спальни - жалко, слабо:

- Dorothea, Feinsliebchen, wo bist du denn?[17 - Dorothea, Feinsliebchen, wo bist du denn? - Доротея, любимая, где ты? (нем.)]

Ничтожество безвольное, безmudddddovoye, бессердечное, безко... о горе мне, я увязаю в ковре, как послевоенный клоп. Проклятые турецкие ковры! Дешевка ворсистая! Персидские и китайские давно разворованы придворной сволочью.

Она настигает меня на пороге Фарфоровой комнаты. Свист рукояти, удар. Я влетаю в камин. Зола. Ashes to ashes?[18 - Ashes to ashes - прах к праху (англ.)]

- Апчхи! - это я.

Выпрыгиваю из каминной пасти, с ужасом замечая, как она, огромная, качнув гирями груди и воздымая махину зада, размахивается сачком, словно битой для гольфа. А в гольф королева играет превосходно. Обильные плечи ее блестят от пота, луна сверкает в растрепанных волосах.

- Ши-и-и-и-и-и-т!

Мимо.

Мечусь между ваз.

- Ши-и-и-и-и-и-т!

Бац!

Ваза вдребезги.

Прыгаю на фарфорового дракона, потом - выше, на попугая, на василиска, на Хотэя, на... бац!

Она сбивает меня, как весеннего вальдшнепа в Груневальде. Кувыркаясь в темном воздухе, лечу вниз. Прямо в ее потные ладони.

Пышущее лицо королевы Доротеи склоняется надо мной.

– Pass auf du, kleiner russkij Zwolatsch, das hast du dir selbst eingebrockt! [19 - Pass auf du, kleine russkij Zwolatsch, das hast du dir selbst eingebrockt! – Слушай, маленькая русская сволочь, ты сам себя подставил! (нем.)]

Занавес.

Конец концу.

Конец концу.

Конец концу.

Рано или поздно – все шло к этому. Увы. Покойный евнух Харламий говаривал: страдать будут не самые длинные и толстые, но самые умные и извилистые из вас. Прав оказался старичок... Да, я умен. Это признал даже Коротышка-3. Я жилист и извилист. Я подвижен и динамичен. Я танцую сочную самбу и скользкую ламбаду, я верчусь дервишем сексуальной пустыни, я кручу хулахуп всеми пятью вагинальными кольцами. Я упруг. Если на пятивершковое тело мое натянуть тетиву, стрела вылетит в окно королевской спальни, просвистит над розарием и упадет в зеленый лабиринт дворцового сада. И наши дылды проводят ее завистливыми взглядами своих улиточных глазок. Если меня оттянуть и отпустить, я могу вышибить последние мозги у очередного любовника королевы. Например, у нынешнего. Конрад Кройцбергский! Как грозно звучит... И какое ничтожество прикрыто этим громким именем. “Тот, кто освободил Нойкельн от салафитских варваров!” И благодарные турки целовали руки освободителю... Как всегда в новейшей истории, лавры достаются бездарям. Картина маслом, сочная придворная живопись: “Королева Доротея Шарлоттенбургская содомирует мною Конрада Кройцбергского”. А это ничтожество вежливо стонет в подушку. Нойкельн освободил китайский крылатый батальон, это знает даже Дылда-8. Конрад Кройцбергский, как и положено трусу, забив себе в темя для храбрости теллутовый гвоздь, въехал туда с отрядом кройцбергских мародеров на своем двухэтажном битюге, когда уже убрали не только трупы салафитов, но и развалины. Он ехал по Карл-Маркс-штрассе, а турецкие женщины бросали розы под копыта его Беовульфа. Герой! Хотя я выпал из процесса и убежал вовсе не из нравственных соображений: мне, как и всем членам королевского гарема, все равно кого содомировать – труса или героя, убийцу или праведника. Работа. Просто... есть пределы. Предел.

Может, я просто устал. Не физически, не физически... Депрессия? Возможно. Душевная смута? Пожалуй. Сложность характера? Да уж! Как опасно долго засидеться в любимчиках. Еще опасней прочитать много книг. Я – личность. Этим все сказано. Есть вещи в себе, которые себе же трудно объяснить. Особенно когда висишь ночью в штрафной клетке...

Гарем спит. Или лучше: спит гарем, не ведая печали...

Из клетки наше удельное сообщество хорошо обозримо. Тридцать две кровати на тридцать два уда. Пять из которых пустуют: моя, Дылды-7, Дылды-4, Толстого-2 и... дай бог памяти... Коротышки-4. Так королева восполняет мой демарш. Но меня заменить ей будет трудно.

Гарем спит. Храпят толстяки, посапывают коротышки, присвистывают дылды, а наш брат коловрат предается Морфею беззвучно. Нас, кривобоких, шестеро. И все, надо признаться, вполне достойные индивидуумы, каждый со своими прихотями. Кривой-1 любит долго мылиться, но моется редко. Кривой-2 не терпит кокосового масла. Кривой-5 панически боится глубоких глоток. Кривой-4 – дворцовых мышей. А я... опасюсь многого. Страхи, страхи. Они формируют настоящего интеллигента. Так что в “бзделоватом коньке” есть свой резон. И я не-на-ви-жу контратаку Маршалла. Лучше тягомотная Каро – Канн или гнилая Пирца – Уфимцева, чем эта черная тоска на доске. Вообще, кривобокие похожи на шахматных или морских коньков, это аксиома. А страхи... у кого их нет, *verdammst noch mal*[20 - *Verdammst noch mal* – Черт побери (нем.)]?

Толстяк-3 хохочет во сне. Счастливый... Вообще, толстяки наши все как на подбор сплошные гедонисты-сангвиники. Может, потому что они, в отличие от нас и дылд, не обрезаны. Натянут свой капюшон, как францисканцы, и спят. Пользуют их нечасто. Кормят и поят до отвала. Выгул на свежем воздухе, динамичные игры, купания... Как же тут не захохотать во сне? Вот Дылда-1, например, во сне часто плачет. И не он один. Я сам в первые месяцы частенько просыпался в слезах. Снилось мне часто почему-то оранжерея во дворце Шереметьева, пальмы, суккуленты, бабочки и жуки, с которыми я быстро нашел общий язык. Махаоны охотно садились на мою лиловую голову, оведали крылами. Я умею не только говорить на языке насекомых, но и петь. Песни эти, правда, не все в гареме разделяют. Грозили: мы тебя, Кривой-6, прихлопнем как комара, если будешь зудеть. Вообще, коллективная жизнь – ад. Но и одиночество не рай, это точно. Как представишь себя спящим в ларце да под кроватью у какой-нибудь турецкой вдовицы или в чемодане у скитающегося по

миру светлогокожего вдовца, строчащего по ночам свою графоманскую Исповедь... оторопь берет.

Кто-то пукнул. Еще. И еще разок. М-да... сейчас уж, наверно, часа два ночи. Хорошо бы выспаться перед завтрашней головомойкой, а сон что-то не лезет в мою головку. Спится, признаться, мне здесь вообще не очень покойно. Дело не в ночных кошмарах, не в классическом для нас ужасном сновидении, описанном одним английским психиатром в известной монографии "Комплекс мегакастрации у трансгенных фаллических организмов". Нет, черная Vagina-s-Zubami, слава богу, не стучится в мои сны. А вот бессонница, гарем, тугие тела... Раннее просыпание – бич мой уже как полгода.

Ночью отсюда, сверху, спальня наша имеет вид зело умиротворенный. Спят уды, возложив лиловые головы на подушки. Как будто не было ночных споров, драк и потасовок. Как будто никогда и никому не делали здесь "темную", не обливали спящих мочой из ночного горшка, не подкладывали в постель шершня или медведку...

Вообще лето прошло довольно миролюбиво. Толстяки успокоились, коротышки перестали петь "Тихую ночь" перед отбоем, Дылде-3 наскучило бросаться с балкона, Кривому-4 – бить Кривого-1. Никто никого особо не ревнует и не упрекает. Отчасти потому, что королева наша любит и приветствует разнообразие отношений: сегодня она содомировала мною Конрада Кройцбергского, завтра ее берут на двойные вилы сестры-близнецы графини Нюрнбергские, а послезавтра никто не запретит ей при помощи двух дылд, двух кривых и двух коротышек поднять графинь уже на шестерные вилы или просто устроить широкую sex-party с салочками, флягелляцией, абиссинскими гвардейцами в сахарной пудре и шампанским. Работы хватает всем, даже Толстяку-2.

Часы прошептали половину третьего.

И все-таки – почему я здесь оказался? Какого черта я взбрыкнул? Глупость? Или старость? Мне четыре года. Это средний возраст не только для удов, но и для большинства маленьких. Значит, это обыкновенный кризис среднего возраста.

Пытаюсь дремать, но не очень получается.

Часы прошептали три. И как по команде: возвращение из спальни в сераль четверых измочаленных. Бредут, головы повесив. Судя по их виду, королева, потеряв меня, перестаралась. Противный Коротышка-4 подходит ко мне:

– Радуйся, кривобокий! Vagina Avida приговорила отдать тебя и остальных русских в Saatgut[21 - Saatgut – интернат-лаборатория по забору спермы в восточной части Берлина.].

Вот это уже серьезно. Это похуже чем на вдовый аукцион или в бордели. Это – удойная судьба. Жизнь в лаборатории. Работа адская, без художеств. Пробирки + удобрение. Потоки вымученной спермы. И до самой смерти.

И в этом виноват я, идиот. Зажирел и развратился во дворцах, мудила удалой.

Коротышка завалился спать, Дылда-4 жадно пьет. Прошу его растолкать когонибудь из русских.

Вскорости трое сонных наших стоят внизу. Объявляю им:

– Нас отдают в Saatgut!

Вижу из моей клетки, как живописно цепенеют три русских уда. Просто граждане Кале в исполнении Сальвадора Дали...

Недолгие прения заканчиваются единогласным решением: бежать.

Куда?

Непонятно...

Не к графу Шереметьеву же... Четыре года назад он сделал достойный подарок королеве Доротее: четыре русских уда в красных лакированных коробках, расписанных палехскими мастерами. Не думаю, что сей вельможа будет рад нелегальному возвращению нашему в родной инкубатор.

Коротышка-12 по имени Петя сообщает, что завтра поезд, запряженный трехэтажным битюгом, отправляется в Баварию на “Октоберфест”. Идея

пришла: забраться в уши к гиганту, доехать с ним до Баварии. Заплатить, конечно, придется. В сундучках наших что-то скопилось за годы тяжелого труда. Труда-уда. Хорошо, до Баварии доберемся, а дальше? Где нашему брату всего спокойней? Разве что в Теллурии... Смешно! До слез. Которых уже не осталось...

Ну да ничего. Удатому молодцу все к лицу, к венцу или к концу.

XIV

– Хвоста не было? – спросил Холодов, пока Маша Абрамович порывисто врывалась в прихожую.

– Нет! – ответила в своей неистово-сосредоточенной манере. И – прочь пуховый платок, и – змеиная лава волос, и – духи, резкие, как она сама.

Глаза Маши блестят сильнее обычного: упрямый антрацит. Большими руками Холодов поймал белую шубку из живородящего меха, метнул на гору одежды – все крючки заняты, все в сборе. Кворум! Сверкнули понимающе жадные глаза. Тонкая фигура Маши в полумраке затхлой прихожей: черный изгиб, ярость новых пространств и желаний. Холодов сумел сдержать себя, чтобы не коснуться мучительного изгиба.

– Все здесь! – утвердительно дернула маленькой головой в старом зеркале.

– Все, – мрачным насильником смотрит он сзади.

Ускользнула от его тела, пролетела коридор, рванула дверь гостиной:

– Здравствуйтесь, товарищи!

Холодов угрюмо – следом.

Гостиная теплая, канделябры, светильники, сияние в полумраке: нынче среда, электричество отключили.

– Здравствуй, товарищ Надежда! – полетело со всех сторон.

Машины глаза всасывают и осеняют: Неделин, Ротманская, Колун, Векша, трое маленьких товарищей из Болшева, заводские Иван и Абдулла, чернобородый Тимур, безразмерный Вазир, Рита Горская, Зоя Ли, берестящик Мом, Холмский, Бобер и...

– Ната! – бросилась, схватила, прижала к плоской груди.

Ната Белая, она же Пчела, Ната на свободе, Ната здесь!

Обнялись, сплетаясь ветвями тонких сильных рук.

– Товарищи, займите свои места. – Неделин поправил пенсне и пиджачок внакидку.

Маша – на ковер, к ногам бритоголовой Наты, сжала ее руку, покрытую струпьями и свастиками.

– Сестра Надежда всегда поспекает к главному, – улыбается тихой улыбкой маленький из Болшева.

– Слава Космосу! – Маша прикладывает ладонь к груди и кланяется.

Все улыбнулись.

Ледяные глаза Неделина чуть подтаяли.

– Итак, продолжим. Главное: Зоран и Горан.

Гостиная зашевелилась неуютно. Вопросы ждали.

– Вчера отлита новая партия кастетов. Итого их теперь...

Ном погладил растянутую на коленях умную бересту.

- Шесть тысяч двести тридцать пять.

- Шесть тысяч двести тридцать пять, - повторил Неделин вслед за берестяным голосом. - Что это значит, товарищи? Шесть тысяч двести тридцать пять одержимых, одурманенных эсеровской пропагандой, выйдут на улицы и одним махом разрушат всю нашу кропотливую работу.

В гостинной пауза повисла.

- Товарищ Михаил, ты не допускаешь, что среди этих шести тысяч будут честные рабочие? - наклоняется вперед Холмский, весь сжатый, пружинистый.

- Большинство из них - честные рабочие, - бесстрастно Неделин парировал и тут же в атаку перешел, привставая: - Именно честность и поможет им дискредитировать великую идею. Именно честность и подведет их под пули, а нас всех - под арест. Именно честности благодаря поверили они авантюристам Зорану и Горану! Именно честность отлучила их от нас! От меня, от вас, от решения съезда, от воззвания Двадцати Пяти!

- Честность ли?! - загремел Вазир.

- Вот именно, товарищ Вазир! Честность ли? - повышает голос Неделин. - А может, здесь требуется другое определение?

- Доверчивость! - Ната сжала Машину руку.

- Нетерпимость! - вскинула Ротманская тонкие брови.

- Готовность к революции, - выговорил сложные слова Колун.

- Неуправляемость. - Зоя Ли вытряхнула окурок из длинного мундштука.

- Вот это ближе! - поднял палец Неделин, глядя на красивую Зою. - Неуправляемость. Скажите мне, товарищи, а кто должен управлять рабочими массами?

- Мы! - почти выкрикнула Маша.

- Налицо неумение использовать доверчивость рабочих масс! – Ротманская изгибается в кресле, словно укушенная скорпионом змея.

- Это – грех! Величайший грех! – загремел Вазир.

- Не грех, а провокация! – выкрикнул темнолицый, светловолосый Абдулла.

- Нет, грех! Грех! – вскинул Вазир массивные длани. – Мы, якши-насос, впали в грех сами, но не сумели ввести в него рабочих! Наша доверчивость плюс их доверчивость должны были помножиться на Идею и слиться аки два источника! И забурлить крутоярым солидолом! И выплеснуться! И охватить! Величайшим охватом, якши-насос!

- Банально пугать нас арестом, товарищ Неделин, – усмехается Рита Горская.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Байчи – идиот, идиотка (кит.).

2

Юйван – идиотизм (кит.).

3

“ВЗ” – Восточное Замоскворечье, школьный региональный значок.

4

РВТВ – Рейнско-вестфальское телевидение.

5

“Сербест Эль” – “Свободная рука” (турецк.).

6

Кельш – кельнский диалект.

7

“Райсдорф” – сорт пива.

8

Нато – забродившие соевые бобы (японск.).

9

Ordo ab chao – К порядку через хаос (лат.).

10

Чжуанши – богатырь (кит.).

11

Terel-tapel – подвижная игра крепостных удов, напоминающая чехарду.

12

Bleib' stehen, du, Schei?kugel! – Стой, говенный шарик! (нем.)

13

Halt! Halt, Mistst?ckchen! – Стоять! Стоять, говнюшка! (нем.)

14

Nun, komm' schon, Duratschjok! – Ну давай же, дурачок! (нем.)

15

Vagina avida – ненасытная вагина (лат.).

16

Ach, du kleine Sau! – Ах ты, свиненок! (нем.)

17

Dorothea, Feinsliebchen, wo hist du denn? – Доротея, любимая, где ты? (нем.)

18

Ashes to ashes – прах к праху (англ.).

19

Pass auf du, kleine russkij Zwolatsch, das hast du dir selbst eingebrockt! – Слушай, маленькая русская сволочь, ты сам себя подставил! (нем.)

20

Verdammt noch mal – Черт побери (нем.).

21

Saatgut – интернат-лаборатория по забору спермы в восточной части Берлина.

Купить: https://telnovel.com/ru/sorokin_vladimir/telluriya

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)